ДЖОН БЭНВИЛЛ

УЛИКИ



Улики
John Banville

Аннотация
Джон Бэнвилл. Улики
От переводчика
Часть I
Часть II

Аннотация

Номинант на Букеровскую премию 1989 года.

«Улики», роман одного из ярких представителей современной ирландской литературы Джона Бэнвилла, рождается в результате глубокого осмысления и развития лучших традиций европейской исповедальной и философской прозы. Преступление главного героя рассматривается автором как тупик в эволюции эгоцентрического сознания личности, а наказание убийцы заключается в трагической переоценке собственного духовного опыта. Книга прочитывается как исповедь мятущегося интеллекта и подводит своеобразный итог его самоидентификации на исходе XX века. Для всех интересующихся современной зарубежной прозой.

«…В „Уликах“ есть убийство и есть похищение картины; но не дай бог вам купить этот роман в качестве вечернего детектива или самолетного чтива. Будете дико разочарованы. „Улики“ – антик, ценность, раритет, экспонат кунсткамеры, роман тонкий, как

папиросная бумага. Игра заключается не в сюжете и даже не в стилистике, а в преображении бумаги в холст, романа – в картину. Он написан от лица убийцы, который среди бела дня вытащил из частной картинной галереи „Портрет дамы с перчатками“ (XVII век, Рембрандт, Вермеер или Хальс), взял первую попавшуюся женщину в заложницы, а потом убил ее и выбросил картину. Довольно скоро его арестовывают; в заключении он начинает писать что-то вроде исповеди. Его манера описывать произошедшее и есть главное событие романа; а детектив – липовый; не в убийстве дело…»

Джон Бэнвилл
Улики

От переводчика

По некоторым чисто формальным признакам роман Джона Бэнвилла, на сегодняшний день, пожалуй, самого крупного и авторитетного (наряду с Уильямом Тревором) ирландского прозаика, известного русскому читателю лишь по повести 1973 года «Берчвуд», вполне можно отнести к детективному жанру. Однако «Улики» — факт литературы серьезной, никак не развлекательной, роман Бэнвилла — вклад, и значительный, в богатейшую исповедальную литературу XX века. У Фредди Монтгомери, эгоиста и сластолюбца, философа и аморалиста, сына века, — целая галерея знаменитых предшественников; достаточно назвать хотя бы набоковского Гумберта Гумберта, Мерсо из «Постороннего» Камю. Наследников Ницше и Достоевского роднит презрение к человечеству и как следствие — вседозволенность, родовая черта всех «лишних людей» двадцатого столетия. В своей исповеди герой Бэнвилла пытается объяснить самому себе, суду и читателю, почему он совершил убийство: «Я лишил ее жизни, — говорит он, — ибо она никогда не была для

меня полноценным живым существом». В этой фразе — мироощущение, приведшее к величайшим трагедиям XX века.

Не лишен герой Бэнвилла и национальных черт. Фредди отличает чисто ирландское умение покатываться со смеху, забавлять читателя и забавляться самому в самые, казалось бы, неподходящие трагические минуты. Он шутит, когда Раскольникову, Гумберту или Мерсо было бы не до смеха. Трагикомическая диалектика, столь свойственная О'Кейси и Биэну, О'Флаэрти и Джеймсу Стивенсу, дает себя знать и в «Уликах»: у героя Бэнвилла и в этом смысле полная вседозволенность; в лучших традициях ирландской литературы он ерничает и каламбурит, походя рассуждая на темы, для легкомысленного отношения «заповедные». Искусством «смеяться на собственных похоронах» Фредди Монтгомери, при всем своем нарочито презрительном отношении к соотечественникам, владеет, надо отдать ему должное, с чисто ирландским блеском и непринужденностью.

Так что теперь, благодаря Джону Бэнвиллу, и в ирландской литературе появился «лишний человек»: циничный и сентиментальный, непосредственный и желчный. Сосредоточенный на

самом себе и к себе безжалостный. Неприкаянный и несчастный. Ирландский Раскольников.

Часть I

Милорд, в связи с вашей просьбой сообщить суду все, как было, своими словами, могу сказать следующее. Здесь меня держат взаперти, словно какое-то экзотическое животное, так, будто я — последний, чудом выживший экземпляр давно вымершего вида. Такого зверя, пожирателя невинных девушек, хищника жестокого и коварного, что разгуливает по клетке и мечет за прутья ослепительные зеленые молнии, надо бы показывать людям, чтобы потом, когда они уютно свернутся клубочком в своих постелях, им было о чем вспомнить. Когда я попался, они отталкивали друг друга, чтобы взглянуть на меня хоть краешком глаза. Если бы за это с них брали деньги, они бы, думаю, с удовольствием раскошелились. Они выкрикивали оскорбления, грозили мне кулаками, злобно скалились. В этой толпе, вызывающей и ужас и смех одновременно, было что-то ненастоящее: по тротуару, словно статисты в массовке, топтались парни в дешевых плащах, женщины с кошелками, были тут и два-три каких-то траченых нервных типа — эти

стояли молча, поедая меня голодными, завистливыми глазами. Когда охранник набросил мне на голову одеяло и затолкал в патрульную машину, я рассмеялся: в том, что в жизни, пошлой по обыкновению, осуществлялись самые мои мрачные фантазии, было что-то невыразимо смешное.

Кстати об одеяле. Интересно, они его в тот раз специально захватили, или оно у них всегда лежит в багажнике, наготове? Сейчас такие вещи почему-то меня занимают, я над ними постоянно размышляю. Пресмешно я, должно быть, выглядел, сидя, точно манекен, на заднем сиденье, когда машина, гудя из важности, неслась по мокрым, залитым солнцем улицам.

Так я попал сюда. Больше всего, помню, поразил меня шум. Несусветный грохот, истошные вопли, свист, взрывы смеха, ругань, рыдания. Иногда, правда, и здесь воцаряется тишина, как будто все мы одновременно немеем от внезапно охватившего нас то ли великого страха, то ли великой тоски. В эти минуты воздух в тюремных коридорах неподвижен, точно стоячая вода; ноздри улавливают едва слышный запах карболки — чем не покойницкая! Поначалу казалось, что этот запах принадлежит мне, что его сюда принес я. Может, так оно и есть? Необычен здесь не

только воздух, но и дневной свет, даже снаружи, во дворе, — как будто с ним что-то стряслось, как будто с ним, прежде чем он дошел до нас, что-то сделали. У него здесь какой-то едкий, лимонный оттенок, и потом, он разной насыщенности: то его не хватает, а то он, наоборот, слепит глаза. О темноте, о том, что она здесь тоже бывает разная, я, пожалуй, распространяться не буду.

Моя камера. Камера как камера. Чего о ней говорить.

Подследственным достаются лучшие камеры. И правильно: кто знает, меня ведь могут и оправдать. Господи, как же больно смеяться! Что-то сразу начинает давить на сердце — чувство вины, не иначе. Здесь у меня есть стол и нечто вроде кресла. Есть даже телевизор, хотя теперь, когда дело мое sub judice[1] и в новостях обо мне ни слова, смотрю я его редко. Водопровод и канализация оставляют желать лучшего. Подтекают — как и я. Надо бы завести себе мальчика. Мальчика с пальчик. А вернее, с пальчиком. Какого-нибудь юнца — шустрого, покладистого и не больно привередливого. Думаю, это не так уж сложно. Да и толковый словарь раздобыть тоже не мешает.

---

[1] notes: 1
Передано в суд (лат.)

Хуже всего то, что всюду пахнет спермой. Не продохнуть.

Должен признаться, что свое пребывание здесь я рисовал в романтическом свете. Я-то воображал, что со мной будут носиться, поместят в особое крыло, отдельно от других заключенных, что посещать меня будут суровые, важные особы, что я буду рассуждать на злобу дня, вызывая зависть у мужчин и очаровывая дам. «Какая, однако, проницательность! — поразятся они. — Какая эрудиция! А нам-то рассказывали, что вы зверь, жестокий, бесчеловечный, — но теперь, когда мы увидели вас, услышали, что вы говорите…» Я живо представлял себе, как встаю в позу, как мой аскетичный профиль смотрится на фоне зарешеченного окна, как тереблю в нервных пальцах надушенный носовой платок и загадочно улыбаюсь — чем не Жан-Жак, эстет и убийца в одном лице.

Все вышло иначе, совсем иначе. Впрочем, и других крайностей не было тоже: ни известных всем нам по «голубому экрану» тюремных бунтов или массовых побегов, ни групповых изнасилований, ни убийств, когда одни во время прогулки втихаря «мочат наседку», а другие, двое рыжих с квадратными челюстями, затевают для отвода

глаз между собой драку. Ничего этого здесь нет. Здесь вообще то же самое, что и там, на воле, только всего больше. Удобств, например. Камеры отапливаются так, что чувствуешь себя, точно в инкубаторе, а между тем заключенные постоянно жалуются на сквозняки, говорят, что по ночам их знобит, что у них стынут ноги. Еде тут тоже придается большое значение: беря в руки тарелку с супом, мы вздыхаем и принюхиваемся, как истинные гурманы. Когда же кто-то получает передачу, об этом мгновенно узнает вся тюрьма. «Слыхали? Она прислала ему слоеный пирог. Домашней выпечки!» Прямо как в школе: то же сочетание невзгод и уюта, та же потаенная тоска, тот же шум — и везде, всегда этот особый, густой, тошнотворный запах нечистой мужской плоти.

Говорят, что, когда здесь сидели политические, все было по-другому. Они гуськом ходили вверх-вниз по лестницам и громко переругивались на скверном ирландском, чем немало веселили уголовников. Но затем политические устроили то ли голодовку, то ли еще что-то, их перевели в отдельную тюрьму, и жизнь вновь пошла своим чередом.

Интересно, почему все мы такие вялые, податливые? Не из-за того ли порошка, который, по

слухам, нам подсыпают в чай, чтобы заглушить похоть? А может, дело в наркотиках? Ваша честь, я знаю, доносчиков не любит никто, даже прокурор, но я считаю своим долгом поставить суд в известность: там, где я нахожусь, идет бойкая торговля запрещенным товаром. Есть несколько вертухаев, то бишь надзирателей, которые в этом деле замешаны, — могу назвать их, если, конечно, вы меня не выдадите. Достать здесь можно любую отраву: амфетамины и барбитураты, героин и кокаин, транквили, сонники, травку — на любой вкус… Поймите меня правильно, ваша честь, я вовсе не думаю, что вам знаком весь этот тюремный жаргон, я и сам-то узнал его совсем недавно, только когда попал сюда. Само собой, интересуется этим делом в основном молодежь. Доходяг этих сразу видно: спотыкаясь, семенят по проходам, словно сомнамбулы, взгляд отрешенный, на губах тоскливая улыбочка. Есть, правда, среди них и такие, которые не улыбаются — и, похоже, не улыбнутся больше никогда. Люди это конченые. Стоят себе и тупо, напряженно смотрят куда-то в сторону: так, без единого звука, отворачиваются от нас раненые звери, как будто мы для них лишь призраки, как будто боль они испытывают совсем в другом мире…

Но дело не только в наркотиках. Мы тут лишились чего-то очень важного, нам выбили почву из-под ног. Старые рецидивисты, отпетые негодяи, совершившие невиданные по жестокости преступления, переваливаясь, точно старые вдовы, бродят по тюрьме — бледные, изнеженные, обрюзгшие, толстозадые. Они прилежно роются в библиотечных книгах, а некоторые даже вяжут. Есть хобби и у молодых: эти робко, бочком подходят ко мне в комнате отдыха и с блеском в телячьих глазах, краснея от смущения, демонстрируют свою очередную поделку. Кажется, покажи они мне еще один парусник в бутылке — и я не выдержу. И в то же время у кровопийц этих, у насильников, у истязателей такой грустный, такой забитый вид. Когда я думаю о них, то почему-то (сам не знаю почему) перед моим мысленным взором предстает узкая полоска жухлой травы и деревце, которые можно увидеть из окна моей камеры, если прижаться щекой к решетке и, скосив глаза, посмотреть вниз, по диагонали, через стену с колючей проволокой.

Встаньте, пожалуйста, положите руку вот сюда, отчетливо произнесите ваше имя. Фредерик Чарльз Сент-Джон Вандервельд Монтгомери. Клянетесь ли вы говорить правду, одну только

правду, ничего, кроме правды? Не смешите меня. Я хочу сразу же пригласить моего первого свидетеля. Мою жену. Дафну. Да, именно так ее звали — и зовут. Почему-то имя это обычно вызывает улыбочку. А по-моему, оно как нельзя лучше подходит к ее меланхоличной смуглой близорукой красоте. Я вижу, как она, мое лавровое деревце (Согласно греческому мифу, нимфа Дафна, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, была превращена богами в лавровое дерево.), полулежит на залитой солнцем поляне и, слегка нахмурившись, недовольно поджав. губки, смотрит куда-то вдаль, а рядом с ней, с камышовой трубкой, самодовольно приплясывает и резвится какой-то влюбленный в нее божок, принявший обличье фавна. Этот отвлеченный, чуть-чуть недовольный взгляд и привлек к ней мое внимание. В ней не было ничего запоминающегося, ничего особенно хорошего. Просто она мне подходила. Быть может, уже тогда я думал о том времени, когда мне понадобится, чтобы меня кто-то — все равно кто — простил, а ведь на такое способен лишь мне подобный.

Когда я говорю, что в ней не было ничего особенно хорошего, я вовсе не имею в виду, что она была порочна или развратна. Шероховатости ее

натуры не шли ни в какое сравнение с глубокими расселинами, бороздившими мою душу. Если ее и можно было в чем-то обвинить, то разве что в нравственной лени. Были вещи, на которые ее попросту не хватало, какими бы важными они ни представлялись ее пресыщенному вниманию. Она, например, совершенно не занималась нашим сыном, хотя, пусть по-своему, и любила его; просто заботы, связанные с ребенком, ее, по существу, не занимали. Я не раз видел, как она смотрела на него с отсутствующим выражением, будто пытаясь припомнить, кто он, какое он, собственно, имеет к ней отношение, как он сюда попал и почему катается по полу у ее ног. «Дафна! — бубнил я. — Ради Бога, очнись!» — и тогда, причем довольно часто, она и на меня смотрела точно так же, тем же пустым, бессмысленным взглядом.

Ловлю себя на том, что не могу не говорить о ней в прошедшем времени. Что ж, так, наверно, и должно быть. А между тем она часто навещает меня в тюрьме. Придя в первый раз, она поинтересовалась, как мне здесь живется. «Как?! Шумно! Людно!» — ответил я, и она, слегка кивнув головой и слабо улыбнувшись, стала разглядывать других посетителей. Мы хорошо понимаем друг

друга, этого у нас не отнимешь.

Под лучами южного солнца леность ее преображалась в сладострастную истому. Почему-то мне запомнилась раскаленная от полуденного средиземноморского зноя комнатка с зелеными ставнями на окнах, узкой кроватью и стулом, как на картине Ван Гога. Где это было? Ивиса? Искья? Может, Миконос? Всегда остров — пожалуйста, клерк, зафиксируйте эту деталь; возможно, она еще нам пригодится. Раздеваться Дафна умела, надо сказать, поразительно быстро; каким-то неуловимым движением плеч она выскальзывала одновременно из юбки, блузки, трусиков, как будто все это было одним предметом туалета. Дафна — крупная женщина, но не толстая, не полная даже; хотя и грузная, но хорошо сложенная. Всякий раз, когда я видел ее обнаженной, мне хотелось погладить ее, как гладят скульптуру, ощупывая ладонью изгиб за изгибом, проводя большим пальцем по длинным плавным линиям, ощущая прохладную бархатистость камня. Возьмите на заметку последнее предложение, клерк, в нем, может быть, заложен глубокий смысл.

Жгучий полдень в этой комнате — и в бессчетном числе других, точно таких же… Господи, сейчас от одной мысли об этом начинает бить

дрожь. Я не мог устоять перед ее простодушной обнаженностью, перед тяжестью и цельностью этой смуглой плоти. Она неподвижно, как в нирване, лежала рядом и не сводила глаз с темного потолка или же с полоски пробивавшегося сквозь ставни раскаленного белого света, пока наконец мне не удавалось — каким образом, непонятно — потревожить в ней какой-то тайный нерв, и тогда она тяжело и в то же время проворно поворачивалась и с протяжным стоном, словно падая с высоты, тесно прижималась ко мне, впивалась мне в горло и начинала на ощупь, точно слепая, шарить пальцами по моей спине. Она никогда не закрывала глаза, в ее тусклых нежных серых зрачках таилось что-то беспомощное, особенно когда она слегка щурилась от саднящей боли, которую я ей причинял. Не могу передать, как это возбуждало меня, как возбуждал этот страдальческий, беззащитный взгляд, столь ей не свойственный в любое другое время. Когда мы ложились в постель, я пытался заставить ее остаться в очках, чтобы вид у нее был еще более потерянный, еще более беззащитный, но это мне, к каким бы уловкам я ни прибегал, не удавалось ни разу. Попросить же прямо я, разумеется, не мог. А потом она — так, словно

ничего не произошло, — вставала и, подхватив рукой рассыпающиеся волосы, неторопливо шла в ванную, а я лежал, бессильно раскинувшись на влажных простынях, и судорожно ловил губами воздух, как будто только что перенес тяжелый сердечный приступ… Что ж, было отчего.

Думаю, Дафна даже не подозревала, какое волнение я испытывал. Я старался скрывать свои чувства. Не подумайте только, что делал я это потому, что боялся оказаться в ее власти. Просто для наших отношений подобные эмоции были бы, скажем так, неуместны. Между нами с самого начала установилась молчаливая договоренность вести себя сдержанно, не давать воли чувствам. Да, мы понимали друг друга, но это ведь вовсе не значит, что мы друг друга знали или стремились узнать. Как бы мы, подумайте сами, сохранили столь важную для нас обоих естественную уважительность к партнеру, если б с утра до ночи изливали друг другу душу?

А как приятно было, дождавшись послеобеденной прохлады, встать с постели и спуститься в гавань по узким улочкам, расчерченным солнцем и тенью на строгие геометрические фигуры. Я любил наблюдать за Дафной, которая всегда шла впереди: сильные плечи, крутые бедра, в

сложном ритме они плавно покачивались в такт шагам под светлым летним платьем. Любил я наблюдать и за аборигенами, которые, согнувшись над бокалами пастиса и наперстками крепчайшего, мутного кофе, постоянно косились на нее своими рачьими глазами. Что, ублюдки, хочется? Перехочется.

В гавани имелось непременное кафе, всегда одно и то же, независимо от острова: несколько столиков на открытом воздухе, пластмассовые стулья, покосившиеся зонтики от солнца с рекламой «Стеллы» или «Перно» и смуглый толстяк хозяин — стоит, прислонившись к дверному косяку, и ковыряет во рту зубочисткой. Одинаковые были и завсегдатаи: какие-то тощие подозрительные типы в выцветших от времени бумажных костюмах, неприступного вида женщины с задубевшей от солнца кожей, тучный старик с седеющими бакенбардами, в теннисной кепке с длинным козырьком и — как без них? — два-три гомика с браслетами на запястьях и в фасонных сандалиях. Из этих людей и состояло наше общество, наш круг, наша компания. Обычно мы не знали, кого как зовут, и называли друг друга «приятель», «старик», «шеф», «дорогая». Мы пили бренди или анисовую водку, всегда выбирая из

местного ассортимента что-то подешевле, громко судачили об общих знакомых, о посетителях других кафе, на других островах, и при этом поглядывали друг на друга; мы широко улыбались собеседнику и украдкой — сами не зная зачем — за ним следили; быть может, чтобы не упустить момент, когда он расслабится, и укусить побольней. Господа присяжные, вы же наверняка нас видели в толпе аборигенов, когда туристами рыскали в поисках достопримечательностей: вы бросали на нас проникновенные взгляды, а мы не обращали на вас никакого внимания.

Мы, Дафна и я, всегда находились в центре внимания и принимали почести с величественной бесстрастностью низложенных короля и королевы, что ежедневно ждут вестей о начале контрреволюции, не оставляя надежды вернуться обратно во дворец. Я замечал, что местные жители в большинстве своем относятся к нам с опаской: время от времени я ловил на себе или испуганный, подобострастный, собачий какой-то взгляд или же злобный блеск, вороватый и угрюмый. Я немало думал над этим явлением, мне оно представляется существенным. Что было в нас — а вернее, в нашем поведении — такого, что производило на них впечатление? Да,

оба мы крупные, хорошо сложенные, красивые люди — но дело, скорее всего, было все же не только в этом. Нет, в результате длительных размышлений я пришел к выводу, что в нас они чувствовали какую-то цельность, органичность, естественность, которой им самим так не хватало и которая, как они полагали, была им недоступна. В их глазах мы были… ну да, мы были героями.

Все это, конечно же, было в высшей степени нелепо. Нет, постойте, я же дал слово говорить правду — на самом деле мне это доставляло удовольствие. Мне доставляло удовольствие нежиться на солнце в обществе неподражаемой и пользующейся сомнительной репутацией спутницы жизни, равнодушно принимая дань восхищения от своей разношерстной свиты. На губах у меня играла легкая улыбочка — хладнокровная, терпимая, чуть-чуть презрительная, адресованная в основном тем, кто поглупее, кто выделывал перед нами антраша в шутовском колпаке с колокольчиками, кто проказничал, хохмил и сам же от души хохотал. Я смотрел им в глаза и видел там свой возвышенный образ, а потому на мгновение забывал, что я собой представляю в действительности: такое же, как и они, жалкое ничтожество, терзаемое любовью и

ненавистью, одиночеством и страхом, мучимое сомнениями и идущее навстречу смерти.

В результате я попал в лапы, проходимцев: почему-то я убедил себя в своей непогрешимости. Говорю это, милорд, вовсе не для того, чтобы оправдать свои поступки, а лишь затем, чтобы объяснить их. Кочевая жизнь, которую мы вели, переезды с острова на остров порождали иллюзии. Солнце, соленый воздух вытравливали значимость из происходящего, лишали истинного его смысла. Мои инстинкты, инстинкты нашего племени, эти тугие пружины, закаленные в темных лесах севера, там, на юге, растянулись, да, ваша честь, растянулись. В самом деле, как опасность, порок могли сочетаться с этим нежным, лазоревым, акварельным климатом? А потом, плохое никогда ведь не случается с нами, плохие люди никогда не бывают нашими знакомыми. Американец, к примеру, казался мне ничуть не хуже всех тех, с кем мы тогда общались. Откровенно говоря, он казался мне ничуть не хуже меня самого — верней, не хуже человека, каким я сам себя тогда представлял, ведь было это, разумеется, раньше, чем я обнаружил, на что способен.

Американцем я называю его потому, что не

знал или забыл его имя, — вполне возможно, он вообще не был американцем. Говорил он по-американски в нос привычка, почерпнутая, видимо, из кино — и имел обыкновение, разговаривая, щуриться, чем очень напоминал мне какого-то киноактера. Всерьез я его при всем желании воспринимать не мог и презабавно его изображал (я всегда был отличным имитатором), вызывая у пораженных слушателей громкий смех узнавания. Сначала я решил было, что он еще очень молод, но Дафна, улыбнувшись, посоветовала мне обратить внимание на его руки. (Такие вещи она подмечала.) Он был долговяз, мускулист, лицо у него было скуластое, а волосы — коротко, по-мальчишески, стриженные. Ходил он в обтягивающих джинсах, в сапогах на высоких каблуках и подпоясывался кожаным ремнем с огромной пряжкой. То, что он работает под ковбоя, чувствовалось сразу. Назову я его… постойте, назову-ка я его, пожалуй, Рэндольфом. Дафна ему явно приглянулась. Я с интересом следил за тем, как он, засунув руки в оттопыренные карманы, медленно приближался к ней и — с уверенностью и в то же время с некоторой опаской, как и многие другие до него, — начинал ее обнюхивать; о его намерениях, как и о намерениях всех осталь-

ных, свидетельствовала какая-то напряженная белизна между глаз. Со мной же он держался настороженно-вежливо, называя меня «другом» и даже — надо же придумать такое! — «коллегой». Хорошо помню, как он первый раз подсел к нам: локти положил на стол, а своими паучьими ножками обвился вокруг стула. Казалось, он извлечет сейчас из кармана кисет и прямо у нас на глазах, лениво, одной рукой скрутит себе сигаретку. Официант, Пако или Пабло, юный мозгляк с горящими глазами и аристократическими замашками, принес нам по ошибке не то, что мы заказывали, и Рэндольф, воспользовавшись этим, сурово его отчитал. Бедный парень стоял втянув голову в плечи под градом оскорблений и в этот момент больше чем когда-либо похож был на деревенского увальня. Когда же он поплелся прочь, Рэндольф победоносно взглянул на Дафну и усмехнулся, продемонстрировав длинные желтые зубы, и я подумал, что он очень смахивает на верного пса, который необычайно гордится тем, что принес к ногам своей хозяйки дохлую крысу. «Черномазое отродье», — небрежно процедил он, презрительно прищелкнув языком. «Подавись, сукин ты сын!» — в сердцах закричал я и одним движением перевернул на него заставленный

бутылками столик. Нет, нет, разумеется, я ничего подобного не сделал. Как бы мне ни хотелось вывалить разбитые бокалы на его нелепо раздутую промежность, я себе такого не позволил бы — в то время, во всяком случае. Вдобавок мне тоже доставляло удовольствие, и немалое, видеть, как получил по заслугам Пабло или Пако, этот прохвост с проникновенным взглядом, нежными ручками и сальными, кустистыми, точно волосы на лобке, усиками.

Рэндольф любил разыгрывать из себя человека бывалого, отчаянного. В разговорах с нами он то и дело намекал на какие-то темные делишки, которые он якобы проворачивал в никому не известном Стейтсайде. Я же, со своей стороны, всячески поощрял рассказы о его героических подвигах, втайне получая удовольствие от всех этих «я ему все начистоту выложил», «и не с такими разбирались», «меня не проведешь». Было что-то необычайно смешное в том, как этот проходимец хитро косится, как в самых рискованных местах — якобы из скромности — запинается, какой у него при этом победительный вид, как он, точно цветок, раскрывается под солнечными лучами моих поощрительных кивков и исполненных благоговейного ужаса Восклицаний. Я вообще

всегда испытывал удовлетворение от мелких грешков своих ближних. Обходиться с дураком и лжецом так, будто во всем мире нет его умней и честней, делать вид, что веришь каждому его слову, любым его ужимкам, доставляет мне какое-то особое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Поначалу Рэндольф уверял, что он художник, но, после того как я задал ему несколько нехитрых вопросов, он, и глазом не моргнув, стал писателем. В действительности же (о чем он поведал мне как-то ночью, выпив лишнего) жил он тем, что сбывал местным нуворишам наркотики. Я, сами понимаете, изобразил полнейшее недоумение, однако рассказ его запомнил и в дальнейшем, когда…

Нет, хватит, надо бы поскорей покончить с этим. Короче, я попросил его одолжить мне денег, Он отказал. Тогда я напомнил ему, что он мне рассказывал, напившись, и заметил, что guardia[2] этой историей наверняка заинтересуется. Он не поверил своим ушам. Подумав, он сказал, что у него самого таких денег нет, придется их для меня доставать — есть люди, к которым он может обратиться. И. замолчав, прикусил нижнюю

---

[2] notes: 2
Полиция (исп., шпал.).

губу. Я ответил, что меня это устраивает, что мне абсолютно безразлично, откуда он возьмет эти деньги. К своему удивлению и, не скрою, радости, я оказался неплохим шантажистом. По правде говоря, я не рассчитывал, что Рэндольф воспримет мои слова всерьез, но, судя по всему, я недооценил его малодушие. Он раздобыл деньги, и пару месяцев мы с Дафной жили припеваючи, ни в чем себе не отказывая; все шло великолепно, вот только Рэндольф ходил за мной по пятам. Такие слова, как «одолжить» и «расплатиться», он воспринимал до обидного буквально. Я же не выдал его гнусный секрет, внушал я ему, разве этого мало? Это люди серьезные, возражал он, изо всех сил пытаясь изобразить на лице улыбку, их вокруг пальца не обведешь. Вот и прекрасно, не унимался я. приятно слышать, что имеешь дело, пусть и не напрямую, с профессионалами. Тогда он пригрозил, что назовет им мое имя. Я расхохотался ему в лицо и ушел. Его слова, что бы он там ни говорил, я по-прежнему всерьез не воспринимал. Однако спустя несколько дней по почте пришел небольшой сверток, на котором я с трудом разобрал собственный адрес: писавший был явно с грамотой не в ладах. Дафна, что было с ее стороны опрометчиво,. сама развернула посылку

и обнаружила внутри металлическую коробку из-под трубочного табака «Балкан собране» (ни вашим, ни нашим — я это так расценил), а на выложенном ватой дне — странной формы хрящевидный, покрытый корочкой запекшейся крови кусок мяса, в котором я — правда, далеко не сразу — узнал человеческое ухо. Судя по неровному срезу, операция стоила немалых усилий и делалась чем-то вроде хлебного ножа. Чтоб побольней. Это наверняка входило в их планы. Помню, у меня даже мелькнула мысль: а ведь правильно, что ухо, — это же как-никак страна тореадоров. Забавно, ничего не скажешь.

Я отправился на поиски Рэндольфа. На левом виске, под волосами, у него была повязка из корпии, а сверху — не первой свежести бинт. С Диким Западом он у меня больше не ассоциировался. Теперь словно судьба решила все же подтвердить его притязания на право называться художником — он стал поразительно похож на несчастного безумца Винсента, каким после любовной драмы тот изобразил себя на знаменитом автопортрете. Казалось, при виде меня он вот-вот заплачет — так ему было себя жалко, так он негодовал. Теперь, сказал он, сам с ними разбирайся, ты должен им, а не мне, я-то уже

расплатился и он с угрюмым видом провел рукой по своей забинтованной голове. Затем обозвал меня нехорошим словом и скрылся. Несмотря на полуденный зной, по спине у меня, точно рябь по воде, пробежал легкий озноб. Я задумался. Мимо, приветливо кивнув, проехал старик на ослике. Где-то невдалеке гулко зазвонил церковный колокол. Почему, допытывался я у себя, почему я так живу?Не сомневаюсь, на этот вопрос суд бы тоже хотел получить ответ. С моим-то происхождением, образованием, с моей… да. с моей культурой, как мог я жить такой жизнью, общаться с такими людьми, попадать в такие истории?! Вы хотите ответа на такой вопрос? Я не знаю ответа. Вернее, знаю, но он слишком сложен, слишком запутан, давать его здесь не стоит. В свое время я, как и все, верил, что определяю ход своей жизни собственными решениями, однако постепенно, по мере того как прошлое копилось у меня за спиной, стало понятно: я делал то, что делал, лишь потому, что не мог иначе. Только, пожалуйста, не подумайте, милорд, что я пытаюсь каким-то образом оправдать себя, тем более — защитить. Я целиком отвечаю за свои поступки — в конечном счете, это ведь то единственное, что я вправе назвать своим, — и заранее заявляю, что приму

без возражений решение суда, каким бы оно ни было. Позволю себе, однако, при всем уважении к суду задать один-единственный вопрос: уместно ли придерживаться принципа моральной виновности, коль скоро не существует более такого понятия, как свобода воли? Это ведь, уверяю вас, штука очень непростая, из тех, о которых мы — от нечего делать — так любим порассуждать поздним вечером, попивая какао и покуривая.

Повторюсь: я вовсе не всегда считал жизнь тюрьмой, где все наши действия зависят от прихоти некоей неведомой и бесчувственной силы. Напротив, в молодости я воображал себя зодчим, который в один прекрасный день воздвигнет над собой потрясающее здание, нечто вроде огромного павильона, просторного и светлого; павильон этот, мечтал я, вместит меня целиком, и в то же время я буду ощущать в нем полную свободу. Смотрите, скажут люди, увидев издалека это великолепие, смотрите, какая стройность, какая прочность, да, это он, в этом нет никаких сомнений, это он, тот самый человек. Однако все это было делом будущего, пока же я ощущал себя незащищенным и одновременно невидимым. Как бы описать это странное ощущение какой-то легковесности, неустойчивости, призрачности?

Другие люди, казалось, обладают телесностью, материальностью, чего так не хватало мне. Среди них, этих больших беззаботных существ, я чувствовал себя ребенком в окружении взрослых. Я наблюдал за ними широко раскрытыми глазами, недоумевая, как в этом непостижимом и абсурдном мире им удается сохранить хладнокровие, уверенность в себе. Только поймите меня правильно: я вовсе не был увядшей лилией, я смеялся, веселился и куражился вместе с лучшими из них — вот только внутри, в той зловещей, погруженной во мрак галерее, что я зову своим сердцем, я стоял, неуверенно переступая с ноги на ногу и приложив ко рту руку, — молчаливый, завистливый, в себе неуверенный. Они понимали — или, по крайней мере, принимали реальность; у них была своя, взвешенная, продуманная точка зрения, были убеждения. Этих людей отличал широкий взгляд на вещи — как будто они не понимали, что все в мире распадается на бесчисленные мелочи. Они рассуждали о причине и следствии так, словно считали возможным отделить одно событие от других и подвергнуть его тщательному анализу в чистом, вневременном пространстве, вне безумного водоворота происходящего. О целых народах они позволяли себе

судить как об одном человеке; мне же судить, хотя бы с малой долей ответственности, даже об одном человеке-представлялось в высшей степени опрометчивым. Они, эти люди, не ведали границ.

На беду, примеры для подражания возникали у меня не только во внешнем мире, но и во внутреннем; во мне словно бы завелся надсмотрщик, от которого я должен был тщательно скрывать отсутствие убеждений. Скажем, если я что-то читал и какой-то довод мне сначала безусловно нравился, а потом, при ближайшем рассмотрении, обнаруживалось, что я абсолютно не понял, что хотел сказать автор, больше того — понял его слова «с точностью до наоборот», мне приходилось мгновенно проделывать сальто в воздухе, убеждая себя, свое второе «я», этого неумолимого внутреннего цензора, что все, сказанное автором, справедливо, что, по правде говоря, я и сам всегда так думал, а если и не всегда, то это лишь свидетельство моей беспристрастности; всякий непредубежденный человек, дескать, меняет точку зрения, сам того не замечая. После чего я отирал пот со лба, откашливался, расправлял плечи и, подавив смятение, продолжал в том же духе. Но почему я говорю все это в прошедшем

времени? Неужели что-то изменилось? Разве что мы с надсмотрщиком поменялись местами: он вышел наружу, а я, сжавшись от страха, затаился внутри.

Интересно, понимает ли суд, чего стоит мне это признание?

Наукой я занялся, чтобы обрести уверенность. Нет, не так: наукой я начал заниматься для того, чтобы меньше ощущалось отсутствие уверенности. Вот способ, решил я, возвести прочную основу на песке, который повсюду, который постоянно уходит у меня из-под ног. И в науке, надо сказать, я преуспел, тут у меня имелось какое-то особое чутье. Помогало мне и то, что в глобальных вопросах, таких, как реальность, истина, этика, у меня не было своего мнения; больше того, в науке я обнаружил до боли знакомый образ непредсказуемого, бурлящего мира, в котором материя всегда была и остается водоворотом случайных коллизий. Занимался я статистикой, теорией вероятности. Область эта запутанная, в подробности я здесь входить не собираюсь. Скажу лишь, что я обладал какой-то холодной проницательностью — даром, даже по строгим меркам моей дисциплины, отнюдь не маловажным. Мои курсовые работы считались образцом

ясности и четкости. Мои профессора, неопрятные старики с дурным запахом изо рта, души во мне не чаяли; они признавали во мне ту неумолимую жесткость, отсутствие которой вынуждало их всю жизнь вещать с университетской кафедры. И вот тогда-то меня и высмотрели американцы.

Как я любил Америку! Жизнь на пастельном, залитом солнцем Западном побережье испортила меня навсегда. Я до сих пор вижу эти места во сне, все, как было, без малейших изменений: горы цвета охры, залив; огромный, изящный, подернутый туманом красный мост. Мне казалось, что я стою на каком-то высоком сказочном плато, в какой-то Аркадии. Какое богатство, какая легкость, какая невинность! Из всех сохранившихся воспоминаний выберу одно, наугад. Весенний день, университетское кафе. Час дня. Снаружи, на площади у фонтана, нежатся на солнце обворожительные девушки. В тот день мы побывали на лекции заезжего профессора, мага и волшебника, одного из тех, кто приобщен к таинствам науки; вот он сидит за нашим столиком, пьет из бумажного стаканчика кофе, грызет фисташки. Это долговязый, худой, довольно нелепый человек с огромной копной курчавых, начинающих седеть волос. У него быстрый, живой, с искорками злобы

взгляд; он непрерывно шарит глазами, словно пытается отыскать что-то смешное. Дело в том, друзья, изрекает он, что все в этом проклятом мире — случайность, чистой воды случайность. Тут губы его кривятся в акульей ухмылке, и он подмигивает мне, такому же чужаку, как и он. Сидящие за столом преподаватели, крупные загорелые мужчины в рубашках с короткими рукавами и в туфлях на толстой подошве, глубокомысленно кивают; один скребет подбородок, другой лениво поглядывает на свои толстые, точно компас, ручные часы. Мимо, играя на флейте, проходит мальчик в шортах и без рубашки. Девушки у фонтана медленно, по двое, подымаются и так же медленно уходят, осторожно ступая на траве и крепко, точно нагрудники, прижимая книги к груди. Господи, неужели я и в самом деле был там? Здесь, сейчас, все это кажется мне скорее сном, чем воспоминанием: музыка, нежные вакханки и мы — прозрачные, неподвижные фигуры; мудрецы, сидящие за стеклом, в котором отражается зелень.

Им все во мне нравилось: и акцент, и галстук-бабочка, и довольно мрачное обаяние Старого Света. Мне было тогда двадцать четыре, однако в их обществе я чувствовал себя чуть ли не пожи-

лым. Они бросались на меня с такой горячностью, словно занимались самоусовершенствованием. Как раз тогда в самом разгаре была война, одна из тех мелких войн, что они время от времени ведут вдали от своих берегов, — и все, абсолютно все выступали против этой войны. Кроме меня, разумеется: я не желал иметь ничего общего с их маршами протеста, сидячими забастовками, с их удручающими попытками перекричать — а не переспорить — друг друга. Но даже мои политические взгляды — а вернее, отсутствие таковых ~ их не отпугнули, и в моей постели, роняя нежные свои лепестки, перебывали дети-цветы всех цветов и размеров. Мало кого из них я запомнил по отдельности; когда я вспоминаю их, перед моими глазами встает некий гибрид с руками одной, глазами другой, рыданиями третьей. От тех дней, тех ночей сохранился теперь лишь легкий горько-сладкий привкус и чувство, да и то мимолетное, какой-то воздушной легкости, какого-то, как бы это сказать, сладострастного, атараксического (да, да, толковый словарь мне достать удалось) блаженства, которое я ощущал после их ухода; все тело, благодаря их нешуточным стараниям, блаженно ныло, а плоть омывалась бальзамом их пота.

В Америке я и повстречал Дафну. Как-то во второй половине дня, обедая у одного профессора, я стоял на крыльце с наполненным до краев бокалом джина в руке и вдруг услышал: на лужайке кто-то говорил со знакомым акцентом — мягким и в то же время чистым, словно звук воды, падающей на стекло; чувствовалась в этом голосе и какая-то свойственная всем нам апатия. Я повернулся и тут же увидел ее: платье в цветочек, старомодные туфли, лохматая, по моде того времени, голова. Рядом в пестром пиджаке стоял какой-то мужчина и, жестикулируя, что-то ей объяснял. Дафна же кивала с серьезным видом, пропуская мимо ушей решительно все, что ей говорилось. Я мельком взглянул на нее и отвернулся — сам не знаю почему. У меня был очередной приступ хандры, да и выпил я к тому времени немало. Этот мимолетный взгляд явился, между прочим, символом нашей совместной жизни. Последующие пятнадцать лет я постоянно от нее так или иначе отворачивался — вплоть до того момента, когда, ранним утром, я стоял, держась за поручни, на палубе уплывавшего с острова парохода, глубоко вдыхал илистый запах гавани и довольно равнодушно махал ей и ребенку, оставшимся где-то далеко внизу, на причале.

В тот день, впервые, не я отвернулся от нее, а она — от меня. Отвернулась (как я теперь понимаю) окончательно, с неспешной и невыразимо печальной решимостью.

История, в которую я попал, была одновременно и глупой, и жутковатой. Чувствовал я себя довольно странно. То, что произошло, казалось нереальным, чем-то вроде тех кошмарных снов, из которых какой-нибудь бездарный толстяк делает потом третьеразрядный фильм. Я упорно отгонял от себя эту историю, как отгоняют сон, каким бы зловещим он ни был, однако вскоре история эта, точно какое-то страшное насекомое, приползла, шевеля щупальцами, обратно, и тогда меня бросало в жар от ужаса и стыда — стыда за собственную глупость, за поразительную недальновидность, которая обернулась для меня такими неприятностями.

Поскольку Рэндольф, судя по всему, играл в этой истории второстепенную роль, я ожидал, что главными действующими лицами будут комедийные «бандиты с большой дороги», «крутые» молодчики с низкими лбами и маленькими жидкими усиками; они, рисовалось мне, встанут в кружок, запустят руки в бездонные карманы и будут молча пялиться на меня, криво улыбаясь

и лениво жуя зубочистку. Я не угадал: меня пригласил к себе седовласый идальго в белоснежном костюме, он крепко, по-дружески пожал мне руку и сообщил, что зовут его Агирре. Идальго был любезен и немного опечален. Обстановка никак не соответствовала его благородному облику. По узкой лестнице я поднялся в комнату над баром — грязную, с низким потолком, покрытым клеенкой столом и парой плетеных стульев. На полу под столом сидел и сосал деревянную ложку чумазый младенец. Из угла на меня пялился громадный телевизор, на необъятном экране я увидел свое отражение — непомерно длинный, худой, изогнутый, точно лук. Пахло чем-то жареным. Сеньор Агирре с едва заметным брезгливым выражением провел ладонью по сиденью плетеного стула, сел, разлил по бокалам вино и любезно со мной чокнулся. «Я бизнесмен, — сказал он, — самый обыкновенный бизнесмен — не какой-нибудь там знаменитый профессор, — тут он улыбнулся и слегка поклонился, — но ведь даже в бизнесе, насколько мне известно, существуют определенные правила, определенные моральные обязательства. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. — Я молча покачал головой. В этот момент я чувствовал себя мышкой, с ко-

торой играет холеный, ленивый старый кот. Агирре опечалился еще больше. — Взятое в долг, — тихо проговорил он, — следует возвращать. Это закон коммерции». И он выразил надежду, что я войду в его положение. Воцарилось молчание. Я с изумлением смотрел на него: так вот он какой, настоящий мир, мир страха, боли и возмездия, — это место серьезное, это тебе не залитая солнцем спортивная площадка, где я с легкостью растратил целую кучу чужих денег. «Мне придется вернуться домой, — выговорил я наконец и сам не узнал собственный голос, — там мне помогут достать нужную сумму; есть друзья, родственники, я смогу занять у них...» Агирре задумался. «Вы поедете один?» — поинтересовался он. В первый момент я не понял, к чему он клонит, А потом отвел глаза и медленно проговорил: «Да, да, жена с сыном, скорее всего, останутся здесь». В этот момент мне почудилось, что у меня за спиной раздался сатанинский смех, какое-то зловещее кудахтанье. Агирре улыбнулся и подлил в бокалы вина — самую малость. Младенец, все это время игравший с моими шнурками, вдруг громко заскулил: от волнения я и не заметил, как случайно задел его ногой. Сеньор Агирре насупился и что-то крикнул через плечо. В ту

же секунду дверь за его спиной распахнулась и в комнату заглянула, что-то недовольно пробурчав, необычайно толстая молодая женщина со злым лицом. На ней было черное без рукавов платье со смятыми оборками, лоснящийся черный парик величиной с пчелиный улей и, под стать парику, огромные черные искусственные ресницы. Она шагнула вперед, вытащила, тяжело сопя, ребенка из-под стола и отвесила ему оглушительную оплеуху. Ребенок вздрогнул, с изумлением уставился на нее своими круглыми глазами и зашелся в крике. Женщина злобно покосилась в мою сторону, схватила деревянную ложку, швырнула ее на стол, после чего, прижав ребенка к своему необъятному бедру, выбежала из комнаты и с грохотом захлопнула за собой дверь. Сеньор Агирре с извиняющимся видом пожал плечами. И опять улыбнулся — озорно, ласково. «Какого вы мнения о здешних женщинах?» Я ответил не сразу. «Будет вам, — весело сказал он, — не может быть, чтобы вы не составили себе мнения по столь животрепещущему вопросу». — «Они очаровательны, совершенно очаровательны, — ответил я, — самые очаровательные представительницы слабого пола, каких мне только приходилось встречать». Он радостно

кивнул — другого ответа он, кажется, от меня и не ждал. «Нет, — возразил он, — нет, они слишком смуглые — даже в тех местах, которые обычно закрыты от солнца. — И, подавшись вперед и легонько постучав пальцем по моему запястью, он расплылся в своей ласковой, лукавой улыбке. — Северные женщины — совсем другое дело! Ах, эти светлые северные женщины! Какая у них белая кожа! Такие нежные! Такие хрупкие! Ваша жена, к примеру», — добавил он. Последовала еще одна гнетущая пауза. Внизу, в баре, громко играла музыка. По радио передавали репортаж о бое быков. Стул, на котором я сидел, словно в предупреждение, громко подо мной скрипнул. Сеньор Агирре поставил локти на стол, сложил в пирамиду свои длинные, как на картинах Эль Греко, пальцы и посмотрел на меня сквозь них. «Ваша жена, — сказал он с Сильным придыханием, — ваша жена — красавица. Вы ведь скоро за ней вернетесь?» По сути дела, это был не вопрос. Что мне было ему сказать? Что было делать? Впрочем, и это тоже не вопросы.

Дафну я в подробности посвящать не стал. Судя по всему, она все поняла сама и отнеслась к моим словам спокойно. Она вообще ко всему относилась спокойно — в этом отношении ей не

было равных.

Домой я добирался долго. В Валенсию пароход пришел только в сумерки. Ненавижу Испанию — злобную, тупую страну. В городе пахло похотью и хлоркой. Я сел в поезд, в купе третьего класса, куда, кроме меня, набилось еще с полдюжины вонючих крестьян в дешевых костюмах. Спать я не мог — было жарко, болела голова. Тепловоз, отдуваясь, тянул состав в гору, колеса без конца бубнили одну и ту же фразу. Над Мадридом брезжил рассвет — гуманная, точно выстиранная, полоска синевы. Я вышел из здания вокзала, увидел в небе стаю птиц, что носились, кружа и падая, на громадной высоте, и, удивительное дело, испытал вдруг какое-то радостное чувство, от которого по всему телу пробежала дрожь, а на глаза навернулись слезы. Произошло это, вероятно, от бессонницы, от горного разреженного воздуха. Интересно, почему я так ясно помню эту привокзальную площадь, цвет неба, птиц, охватившую меня радостную дрожь? А потому, скажете вы, что в тот момент я находился на распутье, будущее испытывало меня, и я, сам того не замечая, выбрал неверный путь. Вот что вы мне скажете, не правда ли? Вы, которые во всем видите скрытый смысл, жаждете этот скрытый

смысл постичь, жаждете так сильно, что у вас потеют руки и горит лицо! Спокойно, Фредерик, спокойно. Простите мне эту вспышку, ваша честь, просто все дело в том, что я не верю, будто эти мгновения — да и любые другие тоже! — имеют какой-то скрытый смысл. По всей видимости, что-то они могут значить, даже иметь какую-то ценность, но только не скрытый смысл.

Ну вот я и излил вам душу.

Итак, где же я был? В Мадриде. Проездом. Я опять сел в поезд и покатил на север. По дороге мы останавливались буквально на каждом полустанке казалось, этой ужасной стране не будет конца. Один раз мы битый час простояли невесть где, в какой-то глуши. Я сидел в гулкой тишине и тупо пялился в окно. За встречной, заваленной мусором железнодорожной колеей тянулось бесконечное желтое поле, а за ним, вдалеке — гряда синих гор, которые я принял было за облака. Припекало солнце. Мимо, устало хлопая крыльями, пролетела ворона. Послышался чей-то кашель. Как странно, что я здесь, подумалось мне, именно здесь, а не где-то в другом месте. Впрочем, находиться в другом месте было бы, наверное, ничуть не менее странно. Я хочу сказать… ох, сам не знаю, что я хочу ска-

зать… В купе было душно, от сидений исходил какой-то пыльный, затхлый запах. Приземистый чернявый мужчина с низким лбом встретился со мной глазами, и в эту секунду мне вдруг стало ясно: скоро, совсем скоро я совершу что-то очень плохое, чудовищное, непростительное. Нет, я не предчувствовал — слово «предчувствие» не передает того, что я ощутил, — я знал, не могу объяснить, каким образом, но знал. Я был потрясен самим собой, дыхание мое участилось, лицо, как будто от смущения, стало подергиваться, однако помимо шока я испытал еще и какое-то шутовское ликование. А крестьянин между тем по-прежнему смотрел на меня в упор. Он сидел, подавшись немного вперед, спокойно сложив руки на коленях, и глядел исподлобья — одновременно и сосредоточенно, и остраненно. Эти люди всегда так смотрят — они настолько плохо сами себя знают, что им кажется, будто действия их остаются незамеченными. Такое впечатление, что смотрят они на вас откуда-то из потустороннего мира.

Конечно же, я знал, не мог не знать, что я убегаю.

Я предполагал, что приеду в дождь, и в Холихеде действительно моросил теплый мелкий дождик,

но когда мы вышли в залив, солнце появилось опять. Море было спокойным — маслянистый гладкий мениск какого-то поразительного розовато-лилового оттенка, высокий и изогнутый. Из переднего салона, где я сидел, казалось, что нос корабля подымается все выше и выше, словно и весь корабль вот-вот поднимется в воздух. Небо впереди было бледно-бледно-голубым и серебристо-зеленым в малиновых пятнах. С застывшим, мечтательным видом, с идиотской улыбочкой деревенского увальня я не отрываясь смотрел на морскую гладь. Признаюсь, к тому времени я уже успел выпить причитающуюся мне порцию беспошлинного алкоголя, и кожа у меня на висках и вокруг глаз напряглась. Однако в безмятежном состоянии я пребывал не только от выпитого, но и из-за нежной красоты, меня окружавшей, из-за естественной доброты мира. Взять хотя бы закат. Какими яркими красками он расписан! А облака, море, это умопомрачительное сине-зеленое пространство… Кажется, краски эти специально созданы для того, чтобы утешить заблудшего, несчастного странника. Иногда мне думается, что наше присутствие здесь, на земле, вызвано какой-то космической ошибкой, что предназначались мы совсем для другой планеты, с другим

устройством, другими законами, иным, более низким, небосводом. Я пытаюсь представить, где же находится наше истинное место — должно быть, где-то в самом дальнем конце галактики. Те же, кому изначально предназначалось жить здесь, неужели они сейчас там — озадаченные, тоскующие по дому, как и мы? Нет, они бы давно уже вымерли. Как могли они выжить, эти нежные земляне, в мире, созданном специально для нас?

Голоса — вот что вывело меня из оцепенения. В первый момент я подумал, что они нарочно, в шутку говорят с таким произношением. Двое дымящих сигаретами краснолицых докеров, таможенник в фуражке — мои соотечественники. Я миновал просторный, обшитый изнутри жестью коридор и погрузился в позолоченные чертоги солнечного летнего вечера. Мимо прошел автобус, проехал на велосипеде рабочий. Старые часы на башне по-прежнему отставали. Я даже удивился — так все было трогательно. Ребенком я любил бывать тут, любил причал, прогулки вдоль моря, эстраду, выкрашенную в зеленый цвет. Здесь меня всегда почему-то охватывало какое-то сладостное чувство уныния, легкого сожаления, как бывает, когда в воздухе только что растаяли последние в этом сезоне

звуки причудливой веселой мелодии. Мой отец называл этот городок исключительно Кингстаун — на местную тарабарщину он не разменивался (Официальное ирландское название Кингстауна — Дун-Лэаре.). Обычно он привозил меня сюда по воскресеньям, а иногда, в школьные каникулы, и по будням. Из Кулгрейнджа ехать было далеко. Машину он ставил прямо на шоссе, чуть повыше пристани, давал мне шиллинг и исчезал, предоставляя мне проводить время, как он выражался, «по своему усмотрению». Хорошо помню, как я, эдакой принцессой-лягушкой, восседаю на высоком заднем сиденье «моррис-оксфорда», самозабвенно смакую мороженое в вафельном рожке, аккуратно, выверенными движениями облизывая тающий сладкий шарик, и поглядываю на прогуливающихся по набережной, а те бледнеют при виде моих прищуренных злых глаз и жадного, побелевшего от мороженого языка. Я сижу у открытого окна машины и вдыхаю соленый морской воздух вперемешку с дымом, который валит из трубы почтового парохода, стоящего на якоре невдалеке. Флаги на крыше яхт-клуба полощутся и хлопают на ветру, а густой лес мачт в гавани покачивается и позванивает на манер какого-нибудь восточного оркестра.

Моя мать никогда не сопровождала нас в этих воскресных «вылазках». Теперь-то я знаю: поездки в Кингстаун нужны были отцу для того, чтобы навещать подружку, которую он тут завел. Впрочем, я что-то не припомню, чтобы он особенно осторожничал — во всяком случае, не больше, чем обычно. Это был невысокий, стройный, хорошо сложенный человек с бесцветными бровями, такими же бесцветными глазами и с маленькими светлыми усиками, в которых было что-то неприличное, словно они являлись естественным продолжением той нежной, вьющейся растительности, что незаметно перекочевала на его лицо с места прямо противоположного. В обрамлении этих усиков рот его казался невероятно живым: жадный, подвижный, ярко-красный, брюзжащий и огрызающийся. Отец вообще все время чем-то был недоволен, постоянно злился, кипел от обиды и возмущения. По натуре, однако, этот с виду агрессивный, неуживчивый человек был, как мне теперькажется, трусом. Он жалел себя, он был убежден, что жизнь обошлась с ним несправедливо. В отместку за эту несправедливость он всячески баловал себя, старался доставить себе как можно больше удовольствий. Он носил туфли ручной работы, галстуки от Шарве, пил дорогие

красные вина и курил сигареты, которые доставлялись в герметически закупоренных жестянках прямиком с Берлингтон-аркейд (Имеется в виду Берлингтонский пассаж в Лондоне, где находятся небольшие, очень дорогие магазины.). У меня до сих пор хранится (а вернее, хранилась) его бамбуковая трость.

Ею он особенно дорожил и любил демонстрировать мне, как она сделана — из четырех (или восьми?) сортов ротанга, сплетенных непревзойденным мастером. Все премудрости этой работы он растолковывал мне с такой серьезностью, что я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он ошибочно полагал, что по его имуществу можно судить о нем самом, и гордился своими вещами, точно дворовый мальчишка рогаткой. В нем вообще было что-то детское, несолидное, неистребимо мальчишеское. Мы словно бы поменялись местами: он, взрослый, немолодой уже человек, был по сравнению со мной ребенком, а я. мальчишка, взрослым, уставшим от жизни, озлобленным. Подозреваю, что он даже немного меня побаивался. В свои двенадцать-тринадцать лег я был одного с ним роста и веса, ибо если цвет волос я унаследовал от него, то комплекцию — от матери и уже подростком склонен был к полноте.

(Да, милорд, вы видите перед собой человека средней упитанности, внутри которого затаился толстяк. Один раз, всего один раз, его выпустили и смотрите, что из этого вышло!)

Надеюсь, у вас не создалось впечатления, что я недолюбливал своего отца. Беседовали мы нечасто, но, в общем, ладили; между нами существовало определенное взаимопонимание. Побаивался не только он меня, но и я, из чувства самосохранения, — его; у нас сложились отношения, которые, в том числе и нами самими, ошибочно принимались за взаимное уважение. Мы оба, и это нас объединяло, с нескрываемым отвращением относились к миру. Я замечаю, что перенял смех отца, короткий, едва слышный, гортанный смешок — единственную его реакцию на происходящее в мире. Национальная рознь, войны, катастрофы его нисколько не волновали: жизнь, настоящая жизнь, кончилась, в его понимании, в тот день, когда последний вице-король отплыл от здешних берегов, — все последующие события были для него не более чем стычками между крестьянами. Он и в самом деле пытался убедить себя, будто у нас, католиков Ирландского замка (Католики Ирландского замка — католики — приверженцы Британской короны;

Ирландский замок — резиденция вице-короля в Дублине.), было великое прошлое; «да, сэр, любил говорить он, — да, сэр, мы католики Ирландского замка-и гордимся этим!» Думаю, однако, что в словах этих было больше досады, чем гордости. В глубине души, мне кажется, он стыдился того, что не был протестантом; будь он протестантом, ему не пришлось бы столько всего объяснять, не пришлось бы постоянно оправдываться. Он изображал себя фигурой трагической, джентльменом старой школы, который пережил свое время. Хорошо представляю себе отца в эти воскресные дни в обществе его любовницы — пышной, надо полагать, дамочки с легкомысленными вьющимися локонами и глубоким вырезом, перед которой он, дрожа, опускается на одно колено; он не отрывает от нее восхищенного взгляда, усики его топорщатся, а влажный рот молитвенно приоткрыт. Но нет, какое право имею я издеваться над ним! По правде говоря, я всегда был об отце неплохого мнения, хотя и мечтал убить его и жениться на собственной матери, — оригинальная и соблазнительная мысль, которую часто с глубокомысленным видом внушает мне мой адвокат.

Но я отвлекся.

Обаяние Кингстауна, то бишь Дун-Лэаре, на

Дублин не распространялось. Со своего места, переднего сиденья в верхнем салоне двухэтажного автобуса — места привычного, любимого! — я с трудом узнавал город. За те десять лет, что меня здесь не было, что-то с ним произошло, какая-то беда. Куда-то подевались целые улицы, а на месте старых домов выросли отвратные коробки из стали и черного стекла. Старинная площадь, где мы с Дафной одно время жили, была стерта с лица земли, и на ее месте возникла огромная, залитая цементом автостоянка. Здание церкви — церкви! — и то, если верить табличке, продавалось. Да, случилось что-то непоправимое. Даже воздух в этом городе казался отравленным. Несмотря на позднее время, еще не погас слабый отсвет дня — густой, тяжелый от пыли, чем-то напоминавший дымку, какая бывает после взрыва или большого пожара. Прохожие затравленно, словно они чудом выжили, озирались по сторонам, шли нетвердой, шатающейся походкой. Я вышел из автобуса и влился в толпу, однако — головы старался не подымать, боясь, что взгляду моему предстанет нечто ужасное. За мной по пятам, прося милостыню, бежали босоногие мальчишки. На каждом шагу попадались. пьяные — эти едва держались на ногах, сквернословили, смотрели

перед собой тупым, одурманенным взглядом. На лестнице, ведущей в винный погребок, примостилась экзотическая парочка: молодой человек со свирепым, изрытым оспой лицом и гривой оранжевых волос и девушка с неподвижным взглядом, в римских сандалиях и в поношенном черном, как вакса, платье. Оба они с головы до ног были обвешаны веревками, цепями и еще чем-то, напоминающим патронную ленту, а в ноздри у них вдето было что-то вроде роскошных золотых запонок. Подобное зрелище я видел впервые и решил, что эти молодые люди — члены какой-то таинственной секты. Я прибавил шагу и нырнул в паб Уэлли. Нырнул — иначе не скажешь.

Я ожидал, что изменился и паб. Я любил эту забегаловку, частенько выпивал там в бытность свою студентом, да и потом, когда работал в институте. Я всегда чувствовал себя здесь как дома, хотя было в этом заведении что-то нечистоплотное. Я знаю, давно уже ходят разговоры о том, что у Уэлли свили себе гнездышко гомосеки, но хочется надеяться, что суд не станет обращать внимания на те намеки, которые в этой связи делаются, особенно в желтой прессе. Сам я не гомосексуалист, при этом ничего против них не имею — — хотя, конечно же, их презираю:

становится тошно всякий раз, как думаешь о том, чем они занимаются. Их присутствие вносило в атмосферу паба какое-то безудержное веселье и в то же время легкую, едва ощутимую тревогу. Я любил, когда меня с ног до головы охватывала нервная дрожь, любил ощущение невесомости, которое шариком ртути прокатывалось у меня по спине, стоило всей их компании неожиданно взорваться визгливым по-птичьи смехом или же, напившись, начать скандалить и крушить все вокруг. В тот вечер, спрятавшись в паб Уэлли от раненого города, я сразу же их увидел: человек шесть гомиков сидели у самого входа и, утробно хихикая и лапая друг друга, о чем-то оживленно шептались. Сам же Уэлли восседал за стойкой. Он еще больше растолстел (кажется, куда уж больше!), однако в остальном ничуть за десять лет не изменился. Я тепло с ним поздоровался; подозреваю, что он меня узнал, хотя, естественно, виду не подал: Уэлли любил изобразить из себя человека угрюмого, неуживчивого. Я заказал гигантскую порцию джина с тоником, и он, недовольно вздохнув, тяжело сполз с высокого табурета. Двигался Уэлли очень медленно, словно сквозь воду, плывя в своем жире, как медуза. Между тем мне стало заметно лучше. Я расска-

зал Уэлли, что видел продающуюся церковь, но он только пожал плечами: дескать, ничего удивительного, теперь такое в порядке вещей. Когда он ставил передо мной стакан с джином, сидевшие у дверей гомосеки неожиданно один за другим с громким смехом повскакивали из-за стола и Уэлли сердито посмотрел в их сторону, поджав губы, отчего маленький его ротик почти совершенно исчез в складках многоярусного подбородка. Он демонстрировал презрение к такого рода завсегдатаям, хотя, ходили слухи, и сам не чурался мальчиков, которых держал в большой строгости — не уступая в ревности и жестокости героиням Бердслея.

А я пил джин. В джине есть что-то особенное, быть может, дух лесной чащи, из-за чего, когда я его пью, то почему-то думаю о сумерках, о тумане, о мертвых девах. В тот вечер джин звенел у меня во рту, как подавленный смех. Я обвел глазами сидевших вокруг. Нет, паб Уэлли не переменился, абсолютно не переменился. Это заведение, что там ни говори, мне по душе: приглушенный мрак, зеркала, ряд бутылок над стойкой бара — и каждая мерцает в темноте на свой лад. Да, да, настоящее ведьмовское логово — тут тебе и страшная, толстая ведьма, и компания веселых

гномов. Не обошлось и без великана-людоеда — c'est moi[3]. Я блаженствовал. Не скрою, люблю все нелепое, все двусмысленное. Во второразрядных кабаках вроде этого с меня сваливается бремя происхождения и образования, и я чувствую, я чувствую… сам не знаю, что я чувствую. Не знаю. Опять я говорю не в том времени. Я повернулся к Уэлли и, протянув ему стакан, зачарованно смотрел, как он вновь наливает волшебное зелье в мой маленький серебряный кубок. Он опустил в джин лед, и жидкость мгновенно вспыхнула голубым светом. На что она похожа? Ну конечно, на глаза, голубые глаза.

Я же сказал, мертвые девы. Господи.

Так я сидел у стойки, пил и беседовал с Уэлли о чем попало — его участие в беседе сводилось лишь к пожатию плечами, тупому похрюкиванью и какому-то особенному, злому хихиканью. Постепенно гул, что всегда начинается у меня в голове во время путешествий, прошел, и я испытал такое чувство, как будто не было никаких пароходов и поездов, а кто-то пронес меня по воздуху и опустил прямо сюда — хмельного, счастливого, непередаваемо, волшебно незащищенного.

---

[3] notes: 3
Это я (франц.)

Десять лет, которые я провел в разъездах, показались мне чем-то эфемерным, каким-то сказочным странствием. Все ушло в прошлое: и острова в лазоревом море, и жгучий полдень за зелеными ставнями, и Рэндольф, и сеньор Агирре, и даже жена с ребенком. В далекое прошлое. Поэтому, когда в бар вошел Чарли Френч, я поздоровался с ним так, словно видел его вчера.

Знаю, Чарли настаивает на том, что в пабе Уэлли мы не встречались, что он вообще ни разу там не был. Что ж, я могу ошибаться: возможно, мы увиделись в пабе и не в первый день моего приезда — но увиделись именно там, в этом нет никаких сомнений. Хорошо помню этот момент: гомики о чем-то громко шепчутся в углу, Уэлли — привычным, неподражаемо презрительным движением запястья — протирает бокал, а я сижу за стойкой, в кулаке у меня зажат стакан с джином, а между ног — старый, видавший виды чемодан из свиной кожи. И тут в дверях, в мятом полосатом костюме и в стоптанных туфлях, возникает мой забывчивый Эвмей (свинопас, один из немногих слуг, сохранивших верность Одиссею во время его странствий.); на лице у него смущенная улыбка, а в глазах неясная еще догадка. Впрочем, очень может быть, что в памяти у

меня действительно смешались два совершенно разных события. Очень может быть. Что еще сказать? Надеюсь, Чарльз, эта оговорка хоть немного сгладит ту боль, которую я вам причинил.

Меня называют бессердечным, но это не так. Я очень сочувствую Чарли Френчу. Я причинил ему немало страданий, тут двух мнений быть не может. Я ославил его на весь свет. Такой человек, как Чарли, должен был перенести это очень тяжело. Он же повел себя хорошо. Просто превосходно. В последнюю минуту, минуту страшную, страшную до смешного, когда меня уводили в наручниках, он смотрел на меня не укоризненно, а как-то печально. Он почти улыбался. И я ему за это благодарен. Сейчас он вызывает у меня чувство вины и досады, но он был моим другом и…

Он был моим другом. Какая простая и в то же время трогательная фраза. Мне кажется, я произношу ее впервые. Записывая эти слова, я даже на мгновение замер… Что-то подкатило к горлу, так, словно я… словно я сейчас разрыдаюсь. Что же со мной происходит? Может, это и называется перевоспитанием? Может, я и в самом деле выйду отсюда совсем другим человеком?

Бедняга Чарли не сразу узнал меня, и ему явно стало не по себе оттого, что в таком заведении к

нему обращается, да еще так фамильярно, совершенно незнакомый человек. Я же испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие невидимки. Я предложил ему выпить, но он, с подчеркнутой вежливостью, мое предложение отклонил. Он постарел. Ему было немногим больше шестидесяти, но выглядел он старше. Он сутулился, у него появилось маленькое, похожее на яйцо, брюшко, а пепельного цвета щеки покрыты были густой сеточкой лопнувших сосудов. Вместе с тем он производил впечатление человека уравновешенного, чего раньше не было. Казалось, что он, как бы это сказать… что он занял наконец подобающее ему место. Когда я с ним познакомился, он приторговывал картинами и антиквариатом, теперь же у него был солидный, я бы даже сказал, величественный вид, что особенно бросалось в глаза на фоне аляповатой обстановки паба. Да, у него сохранилось прежнее, одновременно озорное и застенчивое, выражение, но, чтобы это выражение заметить, надо было как следует приглядеться. Поначалу он косился на меня с опаской, криво улыбаясь, но затем углядел, вероятно, в моих глазах что-то знакомое и, узнав меня, облегченно вздохнул, громко, с придыханием рассмеялся и осмотрелся. Я хорошо запомнил

этот взгляд: казалось, он обнаружил, что у него расстегнуты брюки, и испуганно озирается по сторонам — не заметил ли кто-нибудь еще? «Фредди! — воскликнул он. — Ну и. ну!» Слегка трясущимися пальцами он сунул в рот сигарету и выпустил в потолок густой клуб дыма. Я попытался вспомнить, когда же мы познакомились. Он приезжал к нам в Кулгрейндж еще при жизни отца и без дела слонялся по дому с каким-то загадочным, виноватым видом. С родителями он познакомился еще до войны, и нередко, сидя вместе за бутылкой, они вспоминали ежегодные балы для членов охотничьего клуба, поездки в Дублин на скачки и прочие развлечения. Я слушал все эти разговоры с безграничным презрением, издевательски поджимая губы с пробивающимся над ними подростковым пушком. В такие минуты они, все трое, особенно моя мать с ее маникюром, перманентом и низким — пропитым и прокуренным — голосом, похожи были на занятых в старомодной комедии провинциальных актеров. Надо, однако, отдать должное Чарльзу: не думаю, чтобы он всей душой отдавался ностальгическим воспоминаниям. Не мог же он не замечать, как громко, с надрывом, хохочет моя мать, как, едва заметно, истерически дрожит ее хриплый, над-

треснутый голос; какие полные невыразимой ненависти взгляды украдкой бросает на нее отец — бледный, с прямой спиной, примостившийся на самом краешке стула, с неподвижными, выпученными, как у гончей, глазами. Когда между родителями начиналось такое, они забывали все на свете, своего единственного сына, своего лучшего друга, и сливались в каком-то макабрическом трансе. В результате нам с Чарли ничего не оставалось, как общаться друг с другом. Держался он при этом с некоторой осторожностью, словно я был чем-то, что могло в любой момент взорваться прямо у него в руках; в те дни я и впрямь был очень вспыльчив, весь кипел от нетерпения и раздражения. Пару мы собой являли, надо думать, презабавную, однако ладили — на каком-то глубинном уровне. Быть может, он видел во мне сына, которого у него никогда не будет, а я в нем — отца, которого у меня никогда не было. (И эту мысль тоже внушает мне мой адвокат. Интересно, что вы на это скажете, Maolseachlainn[4]? Так о чем я? Да, о Чарли. Однажды он взял меня, тогда еще совсем мальчишку, на скачки. Оделся Чарли, как положено: серый

---

[4] notes: 4
Ваша честь (ирл.)

твидовый костюм, коричневые высокие башмаки и небольшая, лихо сдвинутая на глаза фетровая шляпа. Прихватил он с собой даже бинокль, однако настроить его, судя по всему, так толком и не. сумел. Смотрелся он отлично, вот только слишком уж пыжился; казалось, сейчас он покатится со смеху, издеваясь над самим собой и над своими притязаниями. Мне тогда было лет пятнадцать. В буфете он любезно осведомился, какое виски я буду пить, ирландское или шотландское, — и поздно вечером привез меня домой безобразно, бессовестно пьяным. Отец был в бешенстве, мать смеялась. Чарли же сохранял полную невозмутимость, делая вид, что ничего не произошло, и, когда я, качаясь, поплелся спать, незаметно сунул мне в карман пятерку.

Ах, Чарли, я виноват перед вами, в самом деле виноват.

Так вот, словно бы тоже вспомнив былое, он, в свою очередь, решил угостить меня и неодобрительно поджал губы, когда я заказал джин. Сам-то он предпочитал виски, которое было для него такой же личиной, как и полосатый костюм, стоптанные туфли ручной работы и пышная поседевшая теперь шевелюра, которая, как любила говорить моя мать, обрекала его на

громкую славу. Чарли, однако, всегда удавалось каким-то образом славы избегать. Я поинтересовался, чем он занимается. «У меня картинная галерея», — ответил он и с рассеянной улыбкой обвел глазами паб, словно сам был удивлен этим обстоятельством. Я кивнул. Так вот почему он так приосанился, вот почему теперь у него такой самонадеянный вид. Я живо представил себе: пыльная комната в каком-то захолустье, по стенам развешано несколько мрачных, однотонных пейзажей; секретарша, старая дева с крашеными волосами, постоянно препирается с ним из-за каждого пенса представительских денег, зато на Рождество не забывает подарить ему галстук в папиросной бумаге. Бедный Чарли! Теперь он вынужден воспринимать себя всерьез, днем и ночью думать о коммерции и бегать от художников, которые требуют с него денег за свою мазню. «Нет, позвольте уж мне», — сказал я и, вытащив банкноту из быстро худеющей пачки, бросил ее на стойку.

Откровенно говоря, я подумывал о том, чтобы взять у него в долг. И знаете, что мне помешало? Уверен, вы будете смеяться, но я не занял у него денег, ибо счел это дурным вкусом. И дело тут вовсе не в моей щепетильности — в свое время,

чтобы удержаться на плаву, я обращался к услугам людей, куда менее кредитоспособных, чем Чарли. Возможно, остановило меня и то, что мы с ним и в самом деле могли быть отцом и сыном — не моим отцом, конечно, и, уж разумеется, не его сыном, — которые по случайности встречаются в борделе (Аллюзия на «Улисса» Дж. Джойса, где в 15-м эпизоде происходит встреча Стивена Дедала и Леопольда Блума в публичном доме.). Напряженные, угрюмые, чего-то стыдясь, мы хвастались и блефовали, мы чокались, мы пили за доброе старое время. Но продолжалось это недолго, вскоре мы оба запнулись и погрузились в молчание. И тут Чарли вдруг с какой-то чуть ли не болью посмотрел на меня и низким, бесстрастным голосом спросил: «Фредди, что ты с собой сделал?» А потом, устыдившись, отпрянул от меня, безнадежно улыбнулся и вновь выпустил изо рта густой клуб табачного дыма. В первый момент я пришел в бешенство, но затем скис. К таким вопросам я в тот день был не готов, а потому глянул на висевшие на стене, за стойкой, часы и, притворившись, что не понял его, сказал, да, он прав, у меня был тяжелый день, я перебрал, после чего допил джин, пожал Чарли руку, взял чемодан и вышел.

По сути дела, это был все тот же вопрос: почему, Фредди, почему ты так живешь? Ответ на этот вопрос я обдумывал наутро, по дороге в Кулгрейндж. Небо было под стать моему настроению: серое, низкое, тяжелое. Автобус подпрыгивал на ухабах узких сельских дорог с тем же глухим, надтреснутым гулом, с каким стучала у меня в висках кровь. Позади меня грудой обломков были свалены мириады моих случайных поступков. Была ли среди этого гигантского вороха случайностей хотя бы одна (одно принятое решение, один заранее избранный маршрут, один запланированный поворот), которая бы объяснила мне, как же я мог дойти до жизни такой? Нет, конечно, не было. Мой жизненный путь, как, кстати, жизненный путь любого человека, даже ваш, милорд, — это не принятые решения, не заранее избранные маршруты, а сплошные шатания, нечто вроде медленного падения, врастания в землю под постепенно растущим весом всего того, что не удалось сделать. И в то же время я понимал, что кому-нибудь вроде Чарли, тому, кто смотрит снизу, я, вероятно, казался каким-то сказочным существом, шагающим по заоблачным высям, подымающимся все выше и выше и, наконец, бросающимся с головокружительной высоты и

совершающим непостижимый, искрометный полет с объятой пламенем головой. Но я не Эвфорион (в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, родившийся от союза Ахилла с Еленой.). И даже не его отец.

Сам по себе вопрос неверен, вот в чем беда. Ведь он предполагает, что наши действия определяются волевыми решениями, логикой, тщательным взвешиванием фактов, то есть всем тем по-кукольному судорожным подергиванием, которое принято называть совестью. Я жил так, как жил, потому что жил так, как жил, — иного ответа быть не может. Когда я смотрю назад, как бы пристально я ни вглядывался, я не вижу отчетливой границы между разными жизненными этапами. Это сплошной поток — хотя поток, должно быть, слово тут недостаточно сильное. Скорее что-то вроде деятельного безделия, бега на месте. Впрочем, даже такой бег был для меня слишком быстрым, я всегда немного отставал, плелся, можно сказать, в хвосте собственной жизни. В Дублине я слыл провинциальным мальчишкой из Кулгрейнджа, в Америке — зеленым юнцом из Дублина, а на островах — кем-то вроде американца. И мне все время чего-то не хватало. Все было впереди, предвкушалось, ожидало своего

часа. Застряв в прошлом, я все вглядывался в бескрайние просторы будущего. И вот теперь можно, мне кажется, сказать, что будущее наконец наступило.

Вся эта болтовня ничего не значит. Ничего путного. Просто забавляюсь, погружаюсь, теряюсь в хаосе слов. Ведь слова здесь — это роскошь, это чувственность, это все, что осталось у нас от богатого, щедрого мира; мира, которого нас лишили.

О Господь, о Христос, освободи меня отсюда.

О Кто-нибудь.

Я должен сделать паузу, опять болит голова. Головные боли последнее время участились. Не беспокойтесь, ваша честь, вызывать сержанта или пристава нет необходимости — это ведь всего лишь головная боль. Я не сойду с ума, не стану рвать на себе волосы и, горько рыдая, звать свою… Впрочем, вот и она, моя матушка. Собственной персоной. Твоя очередь давать свидетельские показания, мать.

До Кулгрейнджа я добрался в середине дня. Я сошел с автобуса, и тот, кокетливо вильнув мне на прощанье толстым своим задом, покатил, громыхая, дальше. Мотор стих вдали, и над полями вновь воцарилась гулкая летняя тишина. Небо было по-прежнему обложено тучами, но кое-где

уже пробивались солнечные лучи, стало светлее, свинцовый цвет сменился на более мягкий, жемчужно-серый. Я неподвижно стоял на дороге и озирался по сторонам. Привычное всегда таит в себе неожиданности. Все было на месте, все ждало меня: и покосившиеся ворота, и аллея, и продолговатый луг, и дубовая роща — мой дом! Все было абсолютно таким же, как раньше, разве что чуть поменьше, чем мне запомнилось, не в натуральную величину. Я засмеялся. Впрочем, это был не столько смех, сколько вскрик, выражение удивления и узнавания. Всякий раз, когда я вижу такое — деревья, переливающиеся на солнце поля, мягкий, нежно льющийся свет, — я чувствую себя странником, который вот-вот покинет эти места. Но и приезжая куда-то, я все время словно бы отворачивался, бросал долгие взгляды вспять, на землю, которую потерял. Перекинув плащ через плечо и подняв с земли старенький чемодан, я двинулся по аллее в сторону дома — блудный сын, пусть и не умирающий с голоду, пусть и не первой молодости. Из-за изгороди мне навстречу выбежала собака. Она издала гортанный рык и злобно, по самые десны, оскалилась. Я остановился. Не люблю собак. Эта была черно-белая, с бегающими глазками, она припала животом к

земле и, не переставая грозно рычать, заметалась вокруг меня. Прикрыв колени чемоданом, точно щитом, я стал ругать ее, как непослушного ребенка, но голос мой предательски сорвался на фальцет, и на какую-то долю секунды мне почудилось, что где-то в листве звучит приглушенный смех, как будто несколько человек спрятались за деревьями и за мной наблюдают. Но тут кто-то засвистел, и пес, заскулив, виновато поплелся к дому. На верхней ступеньке крыльца стояла мать. Она смеялась. И в тот же момент, словно некий знак свыше, из-за туч выглянуло солнце. «Господи, — сказала она, — это ты, а я уж решила, что у меня галлюцинации».

Я в нерешительности. Нет, не в том дело, что мне не хватает слов. Скорее наоборот. Сказать нужно столько, что не знаю, с чего начать. Я испытываю такое чувство, будто медленно, нетвердой походкой пячусь назад, держа на вытянутых руках огромный, громоздкий и в то же время невесомый груз. Она — это так много и одновременно — ничто. Сейчас надо быть очень осторожным, ведь почва у меня под ногами зыбкая. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что мои слова, что бы я ни сказал, вызовут лишь снисходительный смех у доморощенных психологов,

которыми набит зал суда. Когда подымается материнская тема, простота не поощряется. И тем не менее попытаюсь говорить честно и просто. Ее имя Дороти, хотя все звали ее Долли — сам не знаю почему: ничего кукольного в ней никогда не было[5]. Напротив, она — крупная, сильная, с широким лицом и густыми, точно у жены лудильщика, волосами. Ничего неуважительного в этом описании нет: мать по-своему хороша собой, в ее облике есть что-то величавое и в то же время непосредственное. С детства она запомнилась мне своим постоянным, но отдаленным присутствием: похожа на изваяние с неподвижным взором, красива недоступной, древнеримской красотой — точно мраморная статуя в дальнем конце лужайки. С возрастом, правда, она потолстела: ноги оставались стройными, а вот бедра раздались — несоответствие, которое, в бытность мою подростком, болезненно интересующимся подобными вещами, наводило на мысль о том, какая же требуется сложная архитектура, чтобы такие красивые коленки переходили под юбкой в такую бесформенную талию. «Привет, мать», — сказал я и отвернулся, ища глазами что-нибудь

---

[5] notes: 5
Doll — кукла (англ.)

постороннее. Я уже злился. Она всегда оказывала на меня подобное действие: стоило мне подойти к ней, как во мне просыпались раздражение и злоба. Я был удивлен. Я-то думал, что после десяти лет разлуки между нашей встречей и первым приступом сыновней изжоги пройдет хотя бы минута, так нет же: стиснув челюсти, я скосил злобный взгляд на пучок сорной травы, пробивавшейся из трещины в каменных ступеньках, на которых она стояла. Если она и изменилась, то незначительно: грудь, которую иначе как пышной не назовешь, теперь опала и покоилась аккурат на диафрагме; под носом пробивались едва заметные усики. На ней были мешковатые вельветовые брюки и длинная шерстяная кофта с отвисшими карманами. Она спустилась по ступенькам мне навстречу и вновь засмеялась. «Ты растолстел, Фредди, — сказала она, — у тебя появилось брюшко». И с этими словами она — вы не поверите! — двумя пальцами, большим и указательным, игриво оттянула мне кожу на животе. Эта женщина, эта женщина… что тут сказать? Меня, тридцативосьмилетнего джентльмена с неотразимым средиземноморским загаром, крупного ученого, мужа и отца, человека солидного и, судя по выражению лица, едва ли доброго, она

— вы только представьте! — ущипнула за живот, да еще разразилась при этом хриплым смехом. Согласитесь, ничего удивительного, что сынок в конце концов угодил в тюрьму! Собака, почуяв, что хозяйка против меня ничего не имеет, робко подошла и попыталась лизнуть мне руку, чем я и воспользовался, сильно ударив ее ногой под ребра. От этого мне полегчало, но ненамного и ненадолго.

Есть ли на свете что-то, что воскрешало бы прожитое с такой силой и пронзительностью, как запах дома, в котором прошло детство? Я стараюсь, на что суд наверняка обратил уже внимание, избегать обобщений, но ведь всех нас без исключения охватывает непроизвольная судорога узнавания при первом же дуновении этого едва заметного, ничем не примечательного, простоватого запаха, который и запахом-то не назовешь, скорее эманацией, чем-то вроде вздоха, издаваемого тысячью известных, но невостребованных вещиц, которые в сумме своей и составляют то, что называется домом. Я вошел в прихожую и на мгновение испытал такое чувство, будто беззвучно переместился во времени. Я замер на месте и внутренне содрогнулся. Вешалка со сломанным зонтиком, на каменном полу по-прежнему

отстает одна плитка. «Отвяжись, Пятнистый, черт бы тебя побрал!» — раздался за моей спиной голос матери, и собака взвизгнула. По какой-то необъяснимой причине я ощутил вкус яблок, и мне смутно почудилось, будто произошло что-то очень важное, будто все вокруг меня, словно по мановению волшебной палочки, разом исчезло и тут же, в одно мгновение, сменилось своей точной копией, точной до мельчайших, микроскопических подробностей. Я сделал шаг1 вперед, в этот подмененный мир, с бесстрастным, как положено в таких случаях, выражением лица, и мне показалось, что я слышу прерывистый облегченный вздох: удался сложный трюк и на сей раз.

Мы вошли в кухню, у которой был вид пещеры, где обитало какое-то громадное дурно пахнущее чудовище. «Господи, мать, — сказал я, — ты что, живешь здесь?» В кухонном шкафу посуда была свалена вперемешку с предметами женского туалета, какими-то запиханными по углам старушечьими обносками. Из-под буфета торчали три-четыре пары обуви, и казалось, будто их обладатели лежат на полу, тесно прижавшись друг к другу, — притаились и слушают. Здесь собралась мебель со всего дома: узкий, изящный секретер

из отцовского кабинета, горка орехового дерева из гостиной, обтянутое бархатом кресло с откидной спинкой и полысевшими подлокотниками, в котором когда-то погожим воскресным днем, не издав ни единого звука, умерла моя двоюродная бабушка Алиса, крошечная мерзкая старушонка. Огромный допотопный радиоприемник, некогда главная достопримечательность холла, теперь, весь скособоченный, притулился на сушилке и что-то тихо мурлыкал себе под нос, подмигивая зеленым глазом. Чистой кухню нельзя было назвать, при всем желании. На столе лежала открытая амбарная книга, а рядом, среди тарелок с объедками и немытых чашек, валялись счета и квитанции. В этот день, по-видимому, мать занималась делами. У меня мелькнула было мысль сразу же изложить ей причину — корыстную — своего приезда, но, подумав с минуту, я от этой идеи отказался. Она же, словно сообразив, что у меня на уме, с улыбкой перевела взгляд с меня на разбросанные по столу бумаги и обратно. Я отвернулсяи посмотрел в окно. За домом какая-то приземистая девица в бриджах прогуливала нескольких коннемарских пони, и тут я припомнил, что в одном из своих редких и не вполне грамотных писем мать между делом сообщала

мне о какой-то авантюре, связанной с лошадьми. Она тоже подошла к окну, и некоторое время мы вместе смотрели на понуро бредших по кругу лошадей. «Вот уроды, правда?» — весело сказала она, прервав молчание. К раздражению, которое я испытал по приезде, прибавилось теперь и ощущение бесполезности, тщетности всего происходящего. Ощущение это, впрочем, всегда было мне свойственно. Значение подобного состояния (а может, и побудительной силы) историки и философы, думается, недооценивают. Кажется, я сделал бы все, чтоб только избавиться от него, — все что угодно. Мать тем временем рассказывала мне о своих клиентах, в основном японцах и немцах. «Купили всю страну с потрохами, Фредди, уж ты мне поверь», — говорила она. Пони они приобретали для своего избалованного потомства и платили за них, о чем мать доверительно сообщила, расплывшись в счастливой улыбке, сумасшедшие деньги. «Психи, чего с них взять», — заключила она. Мы засмеялись, а потом опять погрузились в рассеянное молчание. Солнце падало теперь на лужайку, а огромное белое облако медленно раскрывалось над изнемогающими от жары буками. Я стоял и думал о том, как глупо хмуриться в такой день. Стоял измученный, раз-

драженный, руки в карманах, и где-то глубоко внутри капля за каплей копилась во мне тоска — нечто вроде серебристого ихора(в греческой мифологии жидкость, заменяющая кровь в жилах богов), чистого, прозрачного, невиданно драгоценного. Да, дом — это всегда неожиданность.

Мать настаивала, чтобы я походил по дому, «осмотрелся», как она выразилась. «В конце концов, мой мальчик, — сказала она, — наступит день, когда все это будет твоим». И хмыкнула — гортанно, по-своему. Что-то я не припоминаю, чтобы в прошлом ее так просто было развеселить. В ее смехе было что-то почти развязное, какая-то распущенность. Меня эта развязность несколько выбила из колеи, и я подумал, что мать могла бы вести себя и попристойнее. Она закурила и отправилась показывать мне дом; из ее левой клешни торчали пачка сигарет и коробок спичек, а за спиной, следуя в ее дымном фарватере, маячил я. Дом гнил на глазах. в отдельных местах так сильно и быстро, что даже я был потрясен. Мать говорила не закрывая рта, а я тупо кивал, глядя на сырые стены, на вздувшиеся полы и рассохшиеся оконные рамы. В моей бывшей комнате кровать была сломана, а из матраса что-то росло. Вид из окна — деревья, край покатого поля,

красная крыша сарая — был знаком до боли, как галлюцинация. Вот сервант, который я сам соорудил, — и я тут же увидел самого себя, маленького мальчика с деловито нахмуренным лбом, с тупой пилой в руке, склонившегося над листом фанеры, и мое тоскующее сердце дрогнуло, как будто я вспоминал не себя, а своего сына, любимого и незащищенного, навсегда потерянного для меня в моем же собственном прошлом. Когда я обернулся, матери не было. Я обнаружил ее на лестнице с каким-то странным выражением глаз. Увидев меня, она снова заторопилась и сказала, что я обязательно должен увидеть окрестности: конюшню, дубовую рощу. Она преисполнилась решимости показать мне все, все.

Когда я вышел из дому, настроение у меня немного поднялось. Какой же здесь все-таки свежий воздух. Я слишком долго жил под жгучим южным небом. А деревья, могучие деревья, эти терпеливые, стойкие страдальцы, неподвижно застывшие, словно в смущении, и прячущие от нас полный тоски взгляд. Тараща свои безумные глаза и неловко поеживаясь, появился Пятнистый (мне от этой твари, я вижу, ни за что не отделаться) и медленно пересек вслед за нами лужайку. При нашем приближении девушка из

конюшни покосилась на нас с таким видом, будто вот-вот пустится наутек. Звали ее то ли Джоан, то ли Джин — не помню. Большая задница, большая грудь — бесспорно, у матери она вызывала родственные чувства. Когда я заговорил с ней, бедняжка побагровела от смущения и нехотя, будто боялась, что я не отпущу, протянула мне маленькую мозолистую ладошку. Я одарил ее своей коронной ленивой улыбочкой и посмотрел на себя ее глазами: высокий загорелый хлыщ в летнем костюме, стою на лужайке, слегка подавшись вперед, и бормочу нечто несуразное. «Цыган! — внезапно крикнула она. — Ну-ка перестань!» Шедшая впереди лошадь, мелкая, низкорослая, со злыми, пытливыми глазами, вдруг подалась вбок и с очень характерным для них тупым, решительным видом двинулась на меня. Чтобы оттолкнуть ее, я положил руку ей на холку и был потрясен жесткостью,материальностью этого животного, его грубой, сухой шкурой, тугой, неподдающейся плотью, теплой кровью. Теперь я казался сам себе уже не загорелым красавчиком, а чем-то бледным, дряблым, податливым. В эту минуту мои пальцы ног, задний проход, влажная промежность вызывали у меня гадливое, тошнотворное чувство. И стыд. Не могу объяснить

почему. Вернее, могу, но не хочу. Но тут опять, бросившись под копыта пони, залаяла собака, лошадь захрапела, мотнула мордой и оскалилась. Мать пнула собаку ногой, а девица схватила пони за голову и отвернула ее в сторону. Собака завыла, лошади отпрянули и тревожно заржали. Шум стоял страшный. Все всегда кончается фарсом. И тут только я сообразил, что самое время опохмелиться.

И я опохмелился: сначала выпил джина, потом какого-то пакостного хереса, потом бутылку превосходного бордо из коллекции моего покойного отца — увы, последнюю. Я был уже под сильным градусом, когда спустился в винный погреб за сухим красным вином и присел на край клети, глубоко вдыхая ’затхлый воздух сумрачного погреба и выдыхая пылающими ноздрями пары джина. Низкое, затянутое паутиной окошко у меня над головой пронзил припорошенный пылью луч солнца. В темноте вокруг меня громоздились давно забытые предметы (потрепанная лошадь-качалка, старый велосипед с высокой рамой, связка допотопных теннисных ракеток), их неясные, стершиеся очертания едва проступали во мраке, и казалось, что винный погреб — это своего рода полустанок, где прошлое ненадолго

задержалось на пути в небытие. Я засмеялся. «Старый прохиндей!» — произнес я вслух, и от этих слов тишина лопнула, как оконное стекло. В последние месяцы перед смертью он постоянно бывал здесь. Он, который всю жизнь отличался деловитостью, неуемной энергией, стал вдруг бездельником. Обычно мать посылала меня сюда посмотреть, что он делает; «мало ли что с ним может случиться», — уклончиво говорила она мне. Я шел в погреб и неизменно заставал его там; то он, забившись в угол, что-то бесцельно вертел в руках, а то без всякого дела, застыв в неестественной позе, молча пялился в темноту. Когда в такие минуты я обращался к нему, он обычно вздрагивал и сердито, надсадным голосом отчитывал меня, точно его застали за чем-то постыдным. Впрочем, подобные сцены долго не продолжались, проходила минута-другая, и он вновь куда-то пропадал. Казалось даже, что умирает он не потому, что заболел, а потому, что его что-то отвлекло от жизни: будто в один прекрасный день, в разгар кипучей деятельности, что-то завладело его вниманием, поманило из темноты, и, потрясенный, он повернулся и покорно направился на зов — с болезненной, озадаченной, как у лунатика, сосредоточенностью. Сколько

же мне тогда было? Двадцать два. Или двадцать три? Длительный процесс умирания в равной мере и утомлял, и злил меня. Понятное дело, я жалел его, но, как мне кажется, жалость для меня — это вообще лишь внешнее, благопристойное проявление тайного желания взять слабого за шиворот и хорошенько встряхнуть. Он осунулся, весь как-то съежился. Вдруг выяснилось, что воротнички сорочек слишком велики для этой вихляющей черепашьей шеи с двумя похожими на плохо натянутые струны арфы морщинами. Все сделалось ему вдруг велико, одежда болталась на нем, как на вешалке. Глаза стали большие и затравленные, уже с поволокой. Тогда тоже было лето. Солнечный свет больше был ему не нужен, и он предпочитал отсиживаться здесь, в мшистой полутьме, среди сгущающихся теней.

Я с трудом встал, сунул под мышку несколько пыльных бутылок и начал подыматься по сырым каменным ступеням.

И все же умер он наверху, в большой передней спальне, самой просторной в доме комнате. Всю ту неделю стояла невыносимая жара. Балконную дверь открыли и выдвинули кровать изножьем на балкон. Он лежал, откинув одеяло и обнажив свою высохшую грудь. Он отдавал себя солнцу,

бескрайнему небу, он таял в голубом в золоте летнем свете. Его руки… Его быстрое, учащенное дыхание. Его…

Хватит. Я же говорил о матери.

Я поставил бутылки на стол и только начал стирать с них пыль и паутину, как мать сообщила мне, что больше не пьет. Я удивился: в прежние времена она пила наравне с самыми стойкими мужчинами. Я посмотрел на нее, она пожала плечами и отвернулась. «Врачи запретили», — сказала она. Я присмотрелся. У нее действительно слегка запал левый глаз и немного перекосило рот. Я припомнил, каким странным, неестественным движением она зажала в левой руке сигареты и спички, когда повела меня осматривать дом. Мать вновь пожала плечами. «Небольшой удар, — пояснила она. — В прошлом году». «Небольшой удар» — какое странное выражение,. подумалось мне. Как будто какая-то в целом доброжелательная, но нерасчетливая сила нанесла ей легкий, дружеский удар и, по чистой случайности, причинила боль. Теперь она смотрела на меня искоса, с искательной, подетски грустной улыбочкой. С такой улыбочкой признаются обычно в каком-нибудь грешке, самом тривиальном, но мешающем жить. «Очень

тебе сочувствую, старушка», — сказал я и стал ее уговаривать послать всех врачей к чертовой матери и пропустить стаканчик. Мать молчала; казалось, она не слышит моих слов. И тут произошла поразительная вещь. Эта девица, Джоан или Джин — пойду на компромисс и буду называть ее Джейн, — вдруг вскочила со своего места и, в порыве сострадания, неловким, похожим на борцовский прием движением обняла мать и положила руку ей на лоб. Я ожидал, что мать оттолкнет ее, поставит на место, но нет, она сидела неподвижно, ничего, по-видимому, не имея против того, что эта деревенщина ее ^ обнимает; на лице у нее застыла все та же искательная улыбочка. Я не сводил с нее глаз, держа бутылку навесу, над своим бокалом. Невероятно. Огромное бедро девицы прижималось к плечу матери, и мне тут же вспомнился круп лошади, которая теснила меня на лужайке с таким же точно упрямым, тупым видом. Некоторое время в комнате стояла тишина, но гут толстуха — Джейн, я имею в виду — поймала на себе мой взгляд, побледнела, убрала руку с головы матери и поспешно вернулась на свое место. Возникает вопрос: если человек это больное животное, безумное животное (а у меня есть все основания так думать), то как,

спрашивается, объяснить эти едва заметные, непроизвольные жесты доброты и заботы? Не кажется ли вам, милорд, что люди, подобные нам с вами (уж простите, милорд, что я позволил себе к вам приобщиться), что-то упустили, упустили нечто универсальное, некий общий принцип, который так прост, так очевиден, что никому и в голову не приходило рассказать нам о нем. А между тем все они, эти люди, знают, о чем идет речь, и знание это, мой ученый друг, является эмблемой их братства. Их тысячи и тысячи — молчаливых, печальных, посвященных в тайну людей. Они смотрят на нас из зала суда и ничего не говорят, только едва заметно улыбаются, и в их улыбке, как и в улыбке матери, сквозят сострадание и мягкая ирония. Мать подалась вперед, погладила девицу по руке и сказала, чтобы та не обращала на меня внимания. Я не верил своим глазам. Что ж я такого сделал? Девушка сидела, вперившись в тарелку, и шарила по столу в поисках ножа и вилки. Щеки ее горели; казалось, слышно было, как они потрескивают на огне. И все оттого, что я так посмотрел на нее? Бедный ты бедный великан-людоед. Я вздохнул и отправил в рот картофелину. Безвкусную, недоваренную. Как бумага. Надо бы еще выпить.

«Ты что это, опять хандришь, Фредди?» — спросила мать.

Я, кажется, еще не говорил о своей хандре. Страшное дело. В такие минуты мир вокруг тускнеет, как будто воздух чем-то перепачкан. Даже в бытность мою ребенком окружающие пугались, когда у меня портилось настроение. «Опять он не в себе, да?» — говорили они, нервно хихикая и стараясь держаться от меня подальше. В школе же я наводил на всех ужас… но нет, не буду утомлять вас воспоминаниями о школе. Тут я заметил, что моя угрюмость больше не вызывает у матери беспокойства. В ее перекошенной улыбочке чувствовалась теперь неприкрытая издевка. Я сказал, что видел в городе Чарли Френча. «Чарли?!» — воскликнула она и, смеясь, покачала головой. Я кивнул. «Бедный Чарли, — сказала она, — он из тех людей, про кого только и говорят: „Ото!“, вот так, а потом смеются». И вновь воцарилась вялая тишина. И зачем только я вообще сюда ехал? Я поднял бутылку, обнаружил, что она пуста, взял другую, зажал ее между коленей и, покачиваясь и сопя, стал вытаскивать пробку. Хлоп! — готово. За окном на лужайке сгущались сумерки, медленно догорал летний день. Мать поинтересовалась Дафной и ребенком; при мысли

о них в груди у меня что-то екнуло и мучительно — до колик — защекотало. Вот уж не знаешь, смеяться или плакать! Джейн (нет, не могу ее так называть, имя это ей не подходит)... Джоан убрала посуду, и мать извлекла из кухонного буфета — что бы вы думали? — графинчик портвейна и поставила его передо мной. «Надеюсь, дамы могут не выходить из-за стола?» — сказала она все с той же издевательской усмешечкой. — Впрочем, я уже настолько стара, что вполне

с большими, доходящими до пола окнами. У нее был убогий и в то же время такой обиженный вид, как будто она знавала лучшие времена, Я осторожно встал с постели, подошел к окну и взглянул на лужайку. Трава была серой, под деревьями лежали голубиного цвета тени. Голова гудела. Вероятно, все-таки уже рассвело: в дубовой роще, под свинцовым небом одинокая птица испытывала светлеющий воздух тягучей, повторяющейся нотой. Я прижался лбом к окну и задрожал от влажного холодного прикосновения стекла. В дороге я провел почти всю неделю, мало ел и много пил — и теперь это сказывалось. Ощущение было такое, будто меня вывернули наизнанку; веки обжигали глаза, слюна отдавала пеплом. Мне чудилось, будто сад — украдкой,

потихоньку — следит за мной или, во всяком случае, ощущает мое присутствие, знает, что кто-то (сколько таких, должно быть, уже перебывало здесь за эти годы!), стоя в проеме окна, ломает себе руки и затравленно смотри! вдаль, а сзади давит на него невесомый мрак комнаты. Спал я одетым.

Сон. (Суду необходимо знать о моих снах.) Сон этот совершенно неожиданно всплыл в памяти. Ничего особенного, впрочем, в нем не происходило. Вообще в моих снах не бывает того нагромождения событий, каким любят похвастаться многие; мне скорее снятся всевозможные душевные переживания, настроения, чувства, которые нередко сопровождаются весьма активными физическими действиями: я рыдаю или же начинаю метаться, скрежещу зубами, смеюсь, кричу. В этот раз мне снилось, что меня тошнит, во всяком случае, когда я проснулся, у меня першило в горле. Мне снилось, будто я впился зубами в грудину какого-то существа — не исключено, что и человека. Возможно, мясо это было обварено кипятком, так как было мягким и белым. Почти совсем остывшее, оно крошилось у меня во рту, как комки жира, и, пытаясь справиться с тошнотой, я судорожно глотал воздух.

Поверьте, ваша честь, пересказывать такие вещи доставляет мне не больше удовольствия, чем суду их выслушивать. Впрочем, как вам известно, это еще не самое худшее. Как бы то ни было, я жевал эти тошнотворные куски, и меня пучило даже во сне. Вот, собственно, и все, что мне снилось, — если не считать подспудного ощущения чего-то запретного; ощущения вынужденного и в то же время необычайно приятного. Погодите, об этом хотелось бы поподробнее это важно, сам не знаю почему. Какая-то безымянная сила заставляла меня поглощать эту гадкую пищу, неумолимо стояла надо мной скрестив руки, следя за тем, как я урчу, чавкаю, пускаю слюни… И все же, несмотря на все это, а может даже, и благодаря этому, несмотря на немой ужас, на тошноту, что-то потаенное во мне ликовало.

Кстати, когда я листаю словарь, меня поражает бедность языка в обозначении или описании всего дурного. Зло, злодеяние, напасть — все эти слова выражают некое действие; сознательное или, по крайней мере, активное зло. Они не дают определения дурному в его бездейственном, нейтральном, самодостаточном состоянии. То же и прилагательные: ужасный, отвратительный, гнусный, подлый и так далее. Они ведь не

столько описательны, сколько оценочны; в них ощущается порицание, смешанное со страхом. Правда, странно? Вот я и задаю сам себе вопрос: а может, такой вещи, как зло, вообще не существует, раз все эти подозрительно туманные и неточные слова — это лишь своего рода уловка для сокрытия того обстоятельства, что за ними ничего нет. А что, если все эти слова — попытка сотворить зло? В самом деле, может, и есть нечто вроде зла, но это «нечто» создано словами, а не нашими поступками. От подобных рассуждений у меня голова идет кругом; кажется, будто почва уходит из-под ног. Так о чем шла речь? Да, о снах. Был у меня еще один часто повторяющийся сон… но нет, об этом как-нибудь в другой раз.

Я стою у окна в родительской спальне. Да, я только сейчас осознал, что в этой комнате когда-то — в свое время — спали родители. Предрассветная мгла постепенно уступала место бледному утру. От вчерашнего портвейна губы у меня слиплись. Комната, дом, сад, поля — все казалось мне каким-то странным (я вообще ничего не узнавал сегодня) — странным и в то же время знакомым, как бывает… ну да, как бывает во сне. Я стоял у окна в мятом костюме, с головой, как котел, с гадким привкусом во рту, стоял, широко

раскрыв глаза, но еще не до конца проснувшись, и неподвижно, с немым изумлением страдающего амнезией пялился на освещенную солнцем полоску травы. А впрочем, разве я не всегда такой, в большей или меньшей степени? В самом деле, когда задумываешься над этим, то кажется, будто большую часть жизни я именно так и прожил — между сном и явью, не в силах отличить сумрачный мир грез от солнечного мира реальности. В мою память врезались места, мгновения, события, которые были настолько незыблемыми, единственными в своем роде, что я даже не до конца уверен в их существовании, но которые, вспомни я их в то утро, произвели бы на меня более непосредственное и сильное впечатление, чем вещи, меня окружавшие. Одно из таких мест — прихожая в фермерском доме, куда меня еще ребенком посылали как-то купить яблок. Я вижу полированный каменный пол пунцово-красного цвета. В нос бьет терпкий запах политуры. В кадке — сучковатая герань, на стене напротив — большие часы с маятником, без минутной стрелки, откуда-то из глубины дома доносится голос хозяйки, она что-то о ком-то спрашивает. Кругом поля, они залиты светом; бесконечный, тягучий августовский день. И я там. Навсегда.

Когда я вспоминаю эти мгновения, я — там, как никогда не был в Кулгрейндже, как никогда, наверное, не был — и не буду — нигде, никогда; когда я вспоминаю эти мгновения, я — или, вернее, что-то главное во мне — там даже в большей степени, чем в тот день, когда я ходил за яблоками на ферму, затерявшуюся среди бескрайних полей. Полностью, целиком — нигде, ни с кем, никогда, в этом весь я. Даже ребенком я казался себе путешественником, отставшим от поезда. Жизнь была для меня беспрерывным ожиданием, постоянным хождением взад-вперед по перрону, высматриванием поез-. да. Повсюду стояли люди, они закрывали мне обзор, приходилось вытягивать шею, вставать на носки. Да, и в этом тоже, пожалуй, весь я. Весь я.

Я спустился на кухню. Дом спал. В утреннем свете у кухни был какой-то посвежевший, жизнерадостный вид. Я передвигался на цыпочках, боясь нарушить царившую в доме затаенность; казалось, я. непосвященный, присутствую на какой-то торжественной и таинственной церемонии. Собака лежала на грязном, старом коврике у плиты, положив голову на лапы и глядя на меня глазами, в которых отражался лунный серп. Я заварил чай и только присел за стол, чтобы дать ему

настояться, как в кухню, в мышино-сером, туго подпоясанном под грудью халате, вошла Джоанна. Волосы ее, стянутые на затылке конским — как ей и положено — хвостом, были и в самом деле какого-то необыкновенного, золотисто-красного цвета. Я мгновенно — и уже не в первый раз — представил себе, какого у нее цвета волосы совсем в другом месте, но тут же устыдился, как будто злоупотребил доверием обездоленного ребенка. Увидев меня, она замерла в дверях, готовая обратиться в бегство. Я поднял чайник для заварки, тем самым словно приглашая ее ко мне присоединиться. Она прикрыла дверь, с испуганной улыбкой проскользнула мимо меня, обошла стол и достала из кухонного шкафа чашку и блюдце. У нее были красные пятки и очень белые толстые икры. На вид ей было лет семнадцать, не больше. В моей затуманенной с похмелья голове родилась вдруг шальная мысль: девица наверняка в курсе финансового положения матери. Не может же она не знать, например, приносят эти пони доход или нет. Я расплылся в широкой, по-мальчишески озорной улыбке (которая, сильно подозреваю, больше смахивала в этот момент на кривую стариковскую ухмылку) и предложил ей выпить чаю и поболтать. Однако

чай, оказывается, предназначался не ей, а моей матери — Долли, как она выразилась. «Ото! — подумал я. — Долли, недурно!» После этого она тут же ретировалась, вцепившись в блюдце обеими руками и с застывшей улыбочкой уставившись на наполненную чашку — не расплескать бы.

Когда она ушла, я с угрюмым видом огляделся по сторонам, ища разбросанные накануне по столу бумаги: счета, расписки, квитанции, — но ничего, ровным счетом ничего не обнаружил. Верхний ящик маленького секретера, стоявшего раньше в отцовском кабинете, был заперт на ключ. Я решил было взломать его, но одумался: с похмелья я мог не рассчитать сил и разнести в щепки весь секретер.

Я пошел бродить по дому с чашкой чая в руках. В гостиной ковер был свернут, окно разбито, а пол усыпан битым стеклом. Тут только я заметил, что не обут. Я открыл ведущую в сад дверь и вышел — как был, в носках. В промытом, бархатистом воздухе стоял густой запах прогретой солнцем травы, и слабый, едва слышный, — навоза. На лужайке, подобно завалившемуся театральному заднику, лежала черная тень от дома. Нерешительно шагнув на мягкий, податливый торф и почувствовав, как между пальцами ног просту-

пила роса, я вдруг ощутил себя стариком: походка нетвердая, в руке дрожит чашка с блюдцем, отвороты брюк отсырели и измялись. За растущими под окном розами не ухаживали уже много лет, и окно едва угадывалось за густыми зарослями шиповника. Поблекшие, отяжелевшие, розы поникли, висели гроздьями. Их тускло-розовый цвет, да и освещение всего сада вызывали во мне какую-то неясную ассоциацию. Я наморщил лоб. Ну да, конечно, картины. Я вернулся в гостиную. Стены были пусты, а на старых обоях то тут, то там обозначились квадраты и прямоугольники с более четким, невыцветшим рисунком. Неужели она… Я осторожно поставил чашку на каминную полку и несколько раз медленно, глубоко вздохнул. «Сука, — вслух произнес я, — голову даю на отсечение, что именно так она и поступила». За мной по дощатому полу тянулись мокрые перепончатые следы.

Я переходил из комнаты в комнату, осматривая стены. Потом с той же целью обследовал второй этаж, хотя заранее знал, что и там ничего не найду. Я стоял на площадке между первым и вторым этажом и тихонько ругался, как вдруг до меня донеслись чьи-то приглушенные голоса. Я распахнул дверь спальни. Мать и Джоанна сидели

рядышком на огромной продавленной кровати. Они, не без некоторого удивления, посмотрели на меня, и на какую-то долю секунды я замер: в моем сознании родилась — и тут же угасла — мимолетная и совершенно бредовая мысль. Мать была в вязаной желтой ночной кофте с помпонами и с крошечными атласными бантами, отчего походила на исполинских размеров пасхального цыпленка. «Где, скажи на милость, картины?» — тихо проговорил я и сам удивился своей выдержке. После этого, как бывает в комедии, мы затараторили одновременно, каждый говорил свое, мать повторяла: «Что? Что?», а я кричал: «Картины! Картины, черт побери!»; через минуту, однако, оба выдохлись и замолчали. Все это время девица пялилась на нас, медленно переводя взгляд с одного на другого, точно наблюдала за игрой в теннис. Когда мы замолчали, она прикрыла рукой рот и засмеялась. Я повернулся к ней, и она покраснела. Последовала короткая пауза. «Жду тебя внизу, мать», — сказал я таким ледяным голосом, что даже сам знобко поежился.

Когда я спускался вниз по лестнице, мне показалось, что из спальни слышится приглушенное хихиканье.

Мать явилась в кухню босиком. Вид ее на-

бухших мозолей и больших желтых ногтей раздражал меня. Она облачилась в какое-то немыслимое одеяние из переливчатого шелка и своим нездоровым румянцем напоминала старых шлюх Тулуз-Лотрека. Я изо всех сил старался, чтобы мать не заметила, какое отвращение я испытываю. Она с таким беззаботным видом прошлась по кухне, как будто мене там не было. «Итак?» — изрек я, однако она лишь небрежно приподняла бровь и откликнулась: «Итак — что?» На ее лице появилось даже нечто похожее на самодовольную улыбку. Это-то меня и добило. Впав в неистовство, я орал, размахи вал руками, топал ногами. «Где они? Где картины?! — кричал я. — Что ты с ним! сделала? Я требую ответа. Они принадлежат мне, это мое наследство, мое будущее будущее моего сына». Ну и так далее. Меня самого поразил мой праведный гнев чувство ущемленной справедливости. Я раскис, В эти минуты я испытывал к себе такую жалость, что в любой момент мог разрыдаться. Какое-то время мать не перебивала меня; она застыла в театральной позе, уперев руку в бок, откинув на зад голову, и изучала меня, издевательски скривив губы. А потом, дав мне выговориться и воспользовавшись тем, что я, переведя дух,

замолчал, перешла в наступление И я еще смею требовать? Я. который бросил свою овдовевшую мать, укатил в Америку и женился, даже не поставив ее в известность… Да, и ни разу не показал ей ребенка — ее внука, между прочим. Я, который уже десять лет, точно цыган мотается по всему свету, ни черта не делая, проживая те жалкие гроши, что остались от отца, и отбирая у нее последнее… Какое право, визжала она, какое право имею я вообще что-то требовать?! Она замолчала, словно ожидая ответа. Я несколько опешил. Я забыл, какова она, когда разойдется. Впрочем, через минуту, собравшие с духом, я обрушился на нее с новыми силами. А она — на меня. Все было как встарь Молот и наковальня, да, молот и наковальня! Поединок наш, видимо, бы столь захватывающим, что даже собака приняла в нем участие: с лаем и визгом он заплясала вокруг, припадая на передние лапы, пока мать не огрела ее хорошенько и не прикрикнула, чтобы та утихомирилась. Я обозвал мать сукой, она меня — ублюдком. «Если я ублюдок, выпалил я, — то нетрудно догадаться, кто ты такая на что мать с быстротою молнии отпарировала: «Если я сука, то кто же в тако случае ты, щенок?!» Да, это был поединок равных соперников, ни в чем не

уступающих друг другу — Мы вели себя, как обезумевшие от ярости дети — нет, не дети, а огромные доисторические чудовища, какие-нибудь мастодонты, что рвут друг Другу глотки, топча лианы и вырывая с корнем деревья. В воздухе стоял густой, удушливый запах крови. Попрятавшись в кустах, на нас снизу вверх в ужасе взирали маленькие безобидные существа Наконец, пресытившись, мы расцепили бивни и разошлись в стороны. Я обхватил обеими руками свою бедную голову, а она подошла к раковине и, взявшись одной рукой за кран и тяжело дыша, выглянула в окно. Мы слышали учащенное дыхание друг друга. В уборной наверху послышался шум спускаемой воды, шум приглушенный, вкрадчивый, словно девица тактично напоминала нам о своем присутствии. Мать вздохнула. Она продала картины Бинки Беренсу. Я не удивился. Беренсу — кому же еще. «Все?» — спросил я. Она не ответила. Шло время. Она вздохнула опять. «Деньги достались тебе, — сказала она. — Все, что было. Мне он оставил одни долги. — Она вдруг рассмеялась. — Сама виновата, — добавила она, — не надо было выходить за ирландца». Она обернулась в. мою сторону и пожала плечами. Теперь настала моя очередь вздыхать. «Господи, — сказал я, — о Господи».

Совпадения в свидетельских показаниях на суде интереса не вызывают — вы, я уверен, не могли не заметить этого, ваша честь, с вашим-то опытом; с совпадениями происходит примерно то же, что и с шутками, которые, по идее, должны вызывать смех, но встречаются почему-то гробовым молчанием. Даже отчеты о самых противоестественных поступках обвиняемого выслушиваются с абсолютной невозмутимостью; когда же речь заходит о каких-то там совпадениях в его жизни, публика и вовсе начинает шаркать ногами, прокуроры и адвокаты — покашливать, а газетчики — с отсутствующим видом рассматривать лепнину на потолке. И вовсе не потому, что не верят в совпадения, а потому, надо думать, что совпадения эти сбивают всех с толку. Создается такое впечатление, будто некто, таинственный устроитель всего этого запутанного, странного действа, который до сих пор не ошибался ни на йоту, вдруг позволил себе лишнее, немного переусердствовал, чем всех разочаровал и, можно сказать, огорчил.

Меня поражает, например, какую роль в моем деле играет живопись. Ведь если бы не картины (а вернее, коллекционирование картин), мои родители никогда бы не познакомились с Хель-

мутом Беренсом. Мой отец (я уже упоминал об этом?) числил себя ценителем живописи. Причем ценителем в буквальном смысле этого слова: его интересовали не картины, как таковые, а их цена. Пользуясь давней репутацией лошадника и «своего парня», он завоевал расположение престарелых знакомых, в чьих домах лет тридцать — сорок назад он высмотрел пейзаж, или натюрморт, или прокопченный портрет какого-нибудь косоглазого предка; портрет, который сейчас мог бы, пожалуй, кое-что стоить. Отец отличался безупречным чутьем и зачастую опережал наследников престарелого коллекционера всего на каких-нибудь несколько часов. Хорошо представляю себе, как он, взмыв по крутой лестнице в спальню умирающего старца, стоит, скорбно склонившись над широкой кроватью, и, при тусклом свете свечи, вкладывает пятерку в желтую, ссохшуюся руку. Насобирал он, таким образом, немало ерунды, однако имелось в его коллекции и несколько вещиц не совсем негодных и, может даже, чего-то стоящих. Лучшие картины он выпросил у одной выжившей из ума старой леди, за которой, в бытность ее юной девицей, недолгое время волочился его же собственный родитель. Он необычайно гордился своей предприимчиво-

стью, полагая, видимо, что это ставит его в один ряд с такими крупномасштабными пройдохами прошлого, его кумирами, как Гуггенхаймы, Пирпонт Морганы, да и Беренсы тоже. Быть может, из-за этих картин он и познакомился с Хельмутом Беренсом. Быть может, именно эти картины они и не поделили у одра старой леди: злобно сузив глаза и стиснув зубы в бешеной решимости, они тянули за раму каждый в свою сторону.

И с Анной Беренс я тоже встретился благодаря живописи — встретился вновь, так будет точнее. Знакомы-то мы были с детства. Помню, как в Уайтуотере меня однажды отправили на детскую площадку поиграть с ней. Это с ней-то! Лучше не придумаешь. Даже в те дни она держалась независимо, поглядывая на своих сверстников с той едва заметной ироничной улыбочкой, что во все Времена выбивала у меня почву из-под ног. Впоследствии в Дублине она время от времени возникала в нашей буйной студенческой жизни — сдержанная,молчаливая, неприступно красивая. Называли мы се, естественно, «Снежная королева». Потом я потерял ее из виду, напрочь забыл об ее существовании, пока однажды в Беркли (вот тут-то и начинаются совпадения) не обнаружил ее в картинной галерее на Шаттек

авеню. Я не знал, что она в Америке, однако, увидев ее. ничуть не удивился: где бы она ни оказывалась, она везде смотрелась естественно. С минуту я неподвижно стоял посреди улицы и не отрываясь смотрел на нее — любовался ею. Картинная галерея представляла собой большой высокий белый зал со стеклянным фасадом. Анна стояла. прислонившись к столу, и читала какие-то бумаги. Она была в белом платье. Волосы, ставшие от солнца серебряными, уложены были в сложную прическу, на плече спереди лежала толстая коса. В матовом галерейном освещении она и сама смотрелась, как галерейный экспонат. Я вошел и заговорил с ней, с восхищением глядя на ее длинное, слегка асимметричное лицо с близко поставленными серыми глазами и тонким, изящным ртом. Мне почему-то запомнились два крошечных белых пятнышки у нее на переносице, в том месте, где особенно туго натянута кожа. Она была мне рада — по-своему, сдержанно, но рада. Когда я говорил, она внимательно следили за моими губами. На стене висели два-три огромных холста, решенных в шутливом, минималистическом стиле того времени; в своей пастельной обнаженности они мало чем отличались от просвета голой стены по соседству. Я

поинтересовался, не хочет ли Анна что-нибудь здесь купить. Вопрос, мой ее позабавил. «Я здесь работаю», — сказала она, отбрасывая с плеча свою тяжелую светлую косу. Я пригласил ее пообедать, но Анна отрицательно покачала головой. Она дала мне свой телефон. Когда я выходил на залитую солнцем улицу, прямо над головой пронесся, всколыхнув воздух, реактивный самолет, и сразу же запахло кипарисами и бензином, а со стороны университетского городка потянуло слезоточивыми газами. Все что было пятнадцать лет назад. Я смял карточку., на которой она записала номер телефона, собираясь ее выбросить. Но не выбросил.

Жила она в горах, в деревянном — под тирольский, крытом дранкой домике, который снимала у какой-то безумной вдовы. По дороге к вей я не раз порывался выйти из автобуса и вернуться домой: так отпугивали меня и раздражали ее ироничный, оценивающий взгляд, непроницаемая улыбка. Когда я звонил ей, она цедила слова, а пару раз, прикрыв трубку рукой, говорила еще с кем-то. И все же в то утро я побрился особенно тщательно, надел новую рубашку и, для пупки важности, прихватил с собой увесистую книг по математике. Когда автобус с трудом полз в гору

по узким дорогам, я испытал вдруг чувство отвращения, в эти минуты я казался себе каким-то бесстыжим, похотливым существом, ничтожным и подобострастным пупырчатая, в прожилках кожа, дряблая плоть,, голубая, как у младенца, рубашонка, бесформенная, зажатая в руках книга, похожая на сверток с мясом. День выдался облачный, в сосняке стоял туман, Я взбежал на крыльцо по влажной от росы зигзагообразной лесенке, осматриваясь с выражением неподдельного интереса и стараясь — как всегда, когда я нахожусь в незнакомом месте, — выглядеть безупречно. Анна была в шортах, с распущенными волосами. От вида ее пепельно-серых волос, непринужденной позы и длинных голых ног у меня засаднило в горле, В доме стоял полумрак. Несколько книг, эстампы, на двери соломенная шляпа. Хозяйские кошки оставили на коврах и стульях недвусмысленные следы и резкий, цитрусовый, совсем не такой уж неприятный запах.

В шезлонге, положив ногу на ногу, сидела Дафна и лущила горох, бросая горошины в никелированную вазу. Она была в купальном халате, с полотенцем на голове. Как видите, еще одно совпадение.

О чем мы говорили в тот день? Что делал я? Сел,

надо полагать, выпил пива, вытянул ноги и безмятежно откинулся в кресле. Сам ведь я себя не вижу. Зато хорошо вижу, что происходит вокруг присматриваю, прикидываю, беру на заметку. Анна сновала' между гостиной и кухней: приносила сыр, апельсины, ломтики авокадо. Было воскресенье. Вокруг стояла мертвая тишина, Я подошел к окну; между деревьями подымался туман. Зазвонил телефон, Анна взяла трубку и, отвернувшись, что-то прошелестела, Дафна мне улыбнулась. Взгляд у нее плыл: казалось, она старается охватить разом все окружающие ее предметы. Она встала, передала мне вазу и оставшиеся стручки и ушла наверх. Через некоторое время она вернулась одетая, с сухими волосами и в очках, так что сначала я даже не узнал ее,воспользовавшись всеобщим весельем, прижимался веем телом утробно мыча от немыслимо! о восторга.

Быть может, презрение было у нас формой ностальгии, тоски по родине? Жить гам, среди этих нежных, как на палитре, красок, под этим безупречно голубым сводом было все равно что жить в ином, волшебном мире. (В те дни мне часто снился дождь настоящий, зарядивший на весь день ирландский дождь, — как будто я знал

о нем понаслышке, сам же никогда не видел.) А может, насмешки над Америкой были своего рода защитной реакцией? Иногда, правда, нам (а может, только мне одному) приходило в голову, что и мы тоже бываем порой немножко, самую малость, смешны. Не веет ли и от нас абсурдом, с нашими твидовыми костюмами, практичной обувью, с нашими искусственными интонациями и вызывающе вежливым поведением? Случалось, я замечал, как какой-нибудь человек, которому предстояло стать мишенью наших насмешек, при виде нас сам с трудом сдерживал улыбку. Бывало даже, что и мы вдруг переставал» смеяться, смолкали, словно ошушая какую-то неловкость, что-то вроде вины, которая в этот момент витала над нами, точно дурной, неприличный запах. Трио изгоев повстречавшихся на этой бескрайней площадке для игр, что может быть романтичней?

Мы составляли треугольник, и примерно через месяц после нашей первой встречи произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Мы сидели на заднем крыльце, пили джин и курили нечто отвратное на вкус и с весьма странным действием. День был жаркий и хмурый. Прямо над нами, в самом центре белого неба,

стояло похожее на медную монетку солнце. Я следил за тем, как куст жимолости, росший возле самою крыльца, со всех сторон обсасывает целое облако колибри. Дафна — она была в шортах, в купальнике и в босоножках па высоких каблуках встала и, слегка покачиваясь и жмурясь, нетвердой походкой направилась в дом. Я последовал за ней. В мыслях у меня ничего такого не было просто я пошел за очередной порцией льда или за чем-то еще. После яркого уличного света я почти ничего не видел: куда бы я ни поворачивал, перед глазами у меня разверзалась громадная черная дыра. В поисках Дафны я вяло бродил по дому, идя на звук позвякивавшего в ее стакане кубика льда, — из кухни в гостиную, из гостиной в спальню. Занавески были спущены. Дафна сидела в янтарном полумраке на краю кровати и смотрела прямо перед собой. Почему-то вдруг у меня сильно заболела голова. Она одним длинным глотком допила джин, и мы легли рядом. Стакан. однако, она из рук не выпустила, и из него мне на плечо, в пазуху над ключицей. выкатилась бусинка льда. Губы у нее были прохладные и влажные. Она начала что-то говорить и тихо засмеялась мне в рот. Одежда, точно бинты, сковывала наши движения, и я, хрипя, вцепился в нее обеими ру-

ками. В следующий момент мы были уже голые. Последовала тревожная пауза. Где-то поблизости играли дети. Дафна положила руку мне на бедро. Глаза у нес были закрыты, она улыбалась, подняв брови, как будто прислушивалась к какой-то далекой, неясной и чуть-чуть смешной мелодии. У меня за спиной послышался шорох, я повернул голову. В дверях стояла Анна, Я увидел себя ее глазами: поблескивающие в полутьме ляжки, бледные ягодицы, по-рыбьи ощеренный рот. Постояла с минуту в нерешительности, подошла к кровати, опустив, словно в глубокой задумчивости, глаза, села рядом с нами и стала раздеваться. Мы с Дафной лежали обнявшись и молча за ней наблюдали. Она сняла через голову блузку и энергично тряхнула головой, как вынырнувший на поверхность воды пловец. От металлической застежки на спине у нее остался розовато-лиловый отпечаток. Почему-то она казалась мне гораздо старше нас обоих — уставшая от жизни, немного потасканная; взрослый человек, который дал себя вовлечь в не совсем приличную детскую игру? Дафна затаила дыхание, пальцы ее все сильнее сжимались на моем бедре. Слегка приоткрыв рот и чуть нахмурившись, словно испытывая смутное замешательство, она пристально вгля-

дывалась в обнаженное тело Анны. Я слышал, как громко бьется ее сердце и мое тоже. Казалось, мы оба присутствуем при ритуальном раздевании.

Да это и был ритуал. Мы втроем сплелись на кровати, словно участвуя в какой-то древней церемонии труда и молитвы, имитируя возведение, строительство чего-то: гробницы, скажем, или храма с куполами. Как серьезны, как задумчивы мы были в эти мгновения, как бережно касались тел друг друга. Ни один из нас не произнес ни слова. Вот женщины обменялись первым, целомудренным еще поцелуем. Они улыбались — с некоторой даже робостью. У меня дрожали руки. Я уже испытал однажды такое же удушливое ощущение греховности: было это давно, в Кулгрейндже, когда я, еще совсем ребенок, однажды зимой, под вечер, затеял на лестнице потасовку с двумя своими кузинами — тот же ужас и недоверие, то же похотливое, болезненное, детское ликование. В полузабытьи мы погружались и прижимались, содрогались и вздыхали. Время от времени один из нас хватался вдруг за двух других — по-детски нетерпеливо, с каким-то жадным исступлением; хватался и тихонько, еле слышно вскрикивал — как будто от боли или от неизбывной тоски. Были мгновения, когда

мне казалось, будто со мной не две женщины, а одна: таинственное, потустороннее многорукое существо, чьи мысли под непроницаемой маской мне не разгадать вовек. Почувствовав, как во мне накапливается последняя судорога, я на дрожащих руках поднялся над Дафной, которая уперлась ногами мне в поясницу, и посмотрел сверху вниз на них обеих: с ласковой жадностью, рот в рот, они терзали друг друга, и на какую-то долю секунды, сквозь застилавшую глаза пелену, я увидел, как головы их сливаются, светлая и темная, пятнистый барс и лоснящаяся пантера. Но тут в паху у меня началось содрогание, и я рухнул на них — торжествующий и испуганный.

Потом в моих объятиях, удерживая меня в себе, оставалась одна Дафна, Анна же встала, подошла к окну, подняла одним пальцем парусиновую занавеску и выглянула наружу в подернутый дымкой полуденный зной. По-прежнему слышались детские голоса. «Там, на горе, школа, — пробормотала Анна, а затем, тихо рассмеявшись, прибавила: — Уж я-то знаю!» Это была излюбленная фраза безумной вдовы. Вдруг все вокруг сделалось почему-то печальным, серым и ненужным. Дафна прижалась лицом к моему плечу и беззвучно зарыдала. Эти детские голоса я

буду помнить всегда.

Странная это была встреча. Больше она не повторилась. Ни разу. Я много размышляю об этом сейчас — и не по очевидной причине, а потому, что отношения наши меня озадачивают. В самом по себе акте, в любви втроем, не было ничего примечательного: в те дни этим занимались все. Нет, меня поразило тогда (и поражает до сих пор) моя на удивление пассивная роль в этом полуденном действе. Из нас троих я был единственным мужчиной, а между тем я чувствовал, что проникаю не я в них, а они в меня — мягко, неуклонно. Мудрецы наверняка скажут, что я был лишь связующим звеном между ними, тем мостиком, по которому они — на ощупь, легко и быстро — шли в объятия друг к другу. Возможно, так оно и было, но это не столь важно и, уж естественно, далеко не самое главное. Меня не покидает чувство, что в тот день совершался обряд, в котором Анна Беренс была жрицей, а Дафна — жертвой, я же — не более чем подспорьем. Со мной они обращались, как с каменным фаллосом, сгибаясь и извиваясь передо мной с колдовскими вздохами. Они…

Они прощались. Ну конечно, прощались. Мысль эта пришла мне в голову только что. В тот день они не обретали друг друга, а расставались.

Отсюда и грусть, и чувство пустоты, отсюда и горькие слезы Дафны. Ко мне, во всяком случае, все это отношения не имело. Никакого.

Что ж, и у тюрьмы, как видите, есть определенные преимущества: находится и время, и досуг дойти до всего своим умом, проникнуть в суть вещей.

Ощущение, что они соединились в одно целое, которое я испытал в конце нашей любовной сцены, еще долго не покидало меня. Они и сейчас ассоциируются у меня с двойным профилем, выбитым на монете; лица безмятежные, многозначительные, взгляд устремлен вдаль; нечто вроде парных добродетелей: скажем, Невозмутимость и Стойкость или. еще лучше. Молчание и Жертвенность. Мне запомнилось, как Анна оторвала свой распухший блестевший рот от лона Дафны и, повернувшись ко мне лицом, на котором играла всезнающая кривая улыбочка, отодвинулась в сторону, чтобы и я мог видеть разбросанные колени девушки, замысловатую и в то же время невинную, наподобие разрезанного пополам фрукта, щель. В этом коротком эпизоде отречения и обретения, как я теперь понимаю, был заложен глубокий смысл. С него-то все и началось.

Не помню, как я делал Дафне предложение, ее рука и без того, как говорится, была мне отдана. Поженились мы туманным жарким августовским днем. Свадебная церемония получилась скомканной и довольно жалкой. Все это время у меня болела голова. Нашими свидетелями были Анна и мой коллега из университета. После окончания официальной части мы, все вчетвером, вернулись в тирольский домик и выпили дешевого шампанского. Праздник не удался. Коллега мой. сославшись на дела, через полчаса ушел, и мы остались втроем, погруженные в тревожное, непроницаемое молчание. В воздухе, точно скользкие, хищные рыбы, плавали недоговоренности. Прервала молчание Анна; молодые хотят, наверно, остаться наедине, сказала она, улыбнувшись своей всезнающей улыбочкой, и удалилась. И тут вдруг я впал в смятение. Я вскочил и, стараясь не смотреть на Дафну, стал собирать пустые бутылки и бокалы. Из кухонного окна видно было окутанное дымкой солнце. Я стоял у раковины, смотрел на призрачные черно-синие деревья, росшие на склоне холма, и чувствовал, что в углах глаз собрались две огромные, толстые, совершенно необъяснимые слезы. Собрались, но не упали.

Не знаю, любил ли я Дафну в том смысле, какой

принято вкладывать в это слово, зато я знаю определенно: я любил ее привычки. Вам не покажется странным, черствым, возможно даже, бесчеловечным, если я скажу, что по-настоящему меня интересовали только ее внешние проявления? А впрочем, не все ли мне равно, что кому покажется. Существует только один способ узнать другого человека — наблюдать за его поведением. Во внешнем, поверхностном и есть глубина. Вот Дафна нетвердой походкой идет по комнате в поисках очков, осторожно касается предметов, читает, водя по строкам кончиком пальца. Вот она отворачивается и украдкой заглядывает в кошелек, лоб нахмурен, губки крепко сжаты — точно тетушка, что копается в портмоне в поисках шиллинга племяннику на конфеты. Ее скупость, неожиданные, по-детски трогательные приступы жадности. Много лет назад, уж не помню, где это было, я разыскал ее под конец вечеринки: стоит у окна, в белом платье, в сумрачном свете апрельского утра. Она была тогда в полузабытьи, из которого я. пьяный и злой, бесцеремонно ее вывел… а ведь я мог, Господи! — я же мог отступить в тень и написать ее портрет, всю ее, до мельчайших, до трогательнейших подробностей, на пустой внутренней стенке своего

сердца, и на портрете этом она была бы безмолвной, пылкой, как в тот предрассветный час — моя темноволосая, моя загадочная прелесть.

Мы быстро — и. как всегда, без слов — договорились покинуть Америку. Я бросил свои изыскания, бросил университет, отказался от академической карьеры, оставил все не задумываясь — и еще до конца года мы отплыли в Европу.

Maolseachlainn Мак Гилла Гунна, мой адвокат и, как он уверяет, мой друг, известен своим умением вникать в любые мелочи. Истории о его прогрессивном методе ходят повсюду от судебной канцелярии до тюремных камер. Он помешан на мелочах. Это крупный, неуклюжий человек в необъятном полосатом костюме, с большой квадратной головой, всклокоченными волосами и крошечными, бегающими глазками. Думаю, жизнь, потраченная на копание в грязных делишках чужих людей, не прошла ему даром. От всего его вида исходит ущемленное самолюбие. Говоря!, что в суде он мечет громы и молнии, но когда он сидит за стареньким столом здесь, в тюремной консультации, нацепив железные очки на большую, как тыква, голову, скрючившись в три погибели над бумагами, что-то строча своим четким, бисерным почерком, слегка задыхаясь

и бормоча себе под нос, — он напоминает мне одного толстого мальчика, моего одноклассника: тот, бедолага, тянулся ко мне всей душой, а я заставлял его делать за меня уроки.

В настоящее время Maolseachlain очень интересуется, почему это первым делом я отправился в Уайтуотер. А почему бы и нет? С Беренсами ведь я был хорошо знаком с Анной уж во всяком случае. В Ирландии меня не было десять лет, и я, как и полагается другу семьи, решил нанести визит вежливости. Но такого рода объяснения моего адвоката, судя по всему, не устраивают. Maolseachlainn хмурится, задумчиво мотает гениальной головой и, сам того не сознавая, вновь погружается в процессуальные тонкости. «Если я вас правильно понял, вы в гневе покинули дом своей матери на следующий же день после приезда, не так ли?» «Насколько я могу судить, вы впали в ярость, узнав, что коллекция вашего отца была продана Хельмуту Беренсу, да еще за ничтожную сумму, не правда ли?» — «А кроме того, у вас, если не ошибаюсь, и без того были все основания испытывать ненависть к Беренсу как к мужчине, ведь он попытался, кажется, наставить рога вашему отцу в…» — «Постойте, дружище, — перебил я его, — последнее обстоятельство

стало известно позже». Он всегда ужасно переживает, когда я вот так разрушаю его стройную теорию. Что ж, ничего не поделаешь, факты — вещь упрямая.

Адвокат понял меня правильно: я действительно опять повздорил с матерью и пулей вылетел из дома (собака, ясное дело, неслась следом, норовя вцепиться мне в пятку). Однако скандал возник не из-за Бинки Беренса — во всяком случае, не только из-за него. Если мне не изменяет память, препирались мы все из-за того же: деньги, предательство, мой отъезд в Штаты, мой отъезд из Штагов, женитьба, отказ от карьеры, все как обычно… да, и еще из-за того, что она пренебрегла моими наследственными правами ради покупки целого табуна этих паршивых пони, на которых старая дура рассчитывала нажить состояние, чтобы обеспечить себе безбедную старость, падаль, гнусная тварь. Естественно, зашла речь и о девице, Джоанне. Уже перед самым уходом, чеканя каждый слог, я заметил, что, с моей точки зрения, женщине с таким положением в обществе (это у матери-то положение в обществе?!) едва ли пристало водить дружбу с девчонкой с конюшни. Признаться, я рассчитывал вызвать бурю негодования, но просчитался. Мать, помолчав с минуту

и посмотрев мне прямо в глаза, с беззастенчивой беспечностью заявила, что Джоанна никакая не девчонка, что ей уже двадцать семь лет. «Она… — Тут мать выдержала эффектную паузу. — Она заменяет мне сына, которого у меня никогда не было», — «Что ж, — сказал я, еле сдерживаясь, счастлив за вас обеих» — и с этими словами выбежал из дому. У ворот, правда, мне пришлось остановиться и перевести дух: я буквально задыхался от ненависти и негодования. Иногда мне кажется, что я ужасно сентиментален.

В Уайтуотер я приехал в тот же вечер. Последний отрезок пути, из деревни, пришлось проделать на такси. Водитель, долговязый, тощий тип в плоской кепке и в старомодном синем фланелевом костюме, с интересом разглядывал меня в зеркало заднего вида и на дорогу смотрел лишь изредка. Я было бросил на него злобный взгляд, но это его ничуть не смутило, наоборот: худое его лицо перекосилось в кривой панибратской ухмылочке. Интересно, почему я так живо запоминаю людей? Они роятся в моем мозгу; стоит мне оторвать взгляд от страницы, как они, вырастая в темноте, со всех сторон подбираются ко мне молча, с некоторым любопытством и даже, я бы сказал, участием. Они — свидетели, сторон-

ние наблюдатели, которые пришли, без всякой задней мысли, дать показания против меня.

Всякий раз, подъезжая к Уайтуотеру, я испытываю невольное восхищение. Отходящая от дороги подъездная аллея деревьями не обсажена и описывает длинную дугу, поэтому впечатление такое, будто особняк на ваших глазах медленно, плавно поворачивается вокруг своей оси. демонстрируя во всем блеске классическую колоннаду. Такси остановилось на гравиевой дорожке перед главным входом, и вместе с внезапно наступившей тишиной пришло (да, Maolseachlainn, вы были правы) осознание того, что никаких серьезных оснований для приезда сюда у меня нет. С минуту я неподвижно сидел, глядя по сторонам, в тупом, как у пробудившеюся лунатика, оцепенении, но тут поймал на себе жадный, выжидательный взгляд таксиста (он все это время наблюдал за мной в зеркало) и вынужден был сделать вид, что знаю, зачем я здесь. Я вышел из машины и остановился, похлопывая себя по карманам и со значительным видом хмурясь, однако провести таксиста не удалось: его хитрая ухмылочка стала еще хитрее, и у меня даже возникло ощущение, что он сейчас по-свойски подмигнет мне. Тоном, не терпящим возраже-

ний, я велел ему подождать и стал подыматься по ступенькам. При этом меня не покидало чувство, что я выставлен на всеобщее осмеяние.

Дверь, далеко не сразу, мне открыл маленький, сморщенный, злобный человечек, одетый, как мне сначала показалось, и форму кондуктора автобуса. Несколько длинных жидких прядей очень черных волос смотрелись на его лысом черепе, как мазки гуталина. На меня он взирал с неизъяснимым отвращением. «Сегодня закрыто», — буркнул он и начал было закрывать дверь прямо у меня перед носом, но я, изловчившись, проскользнул в холл и, медленно потирая руки и улыбаясь, стал смотреть по сторонам с видом наконец-то вернувшегося на родину изгнанника.

«Давненько, давненько я тут не был», — мечтательно промурлыкал я. Висевший над лестницей великий Тинторетто громогласно взывал к моим чувствам сонмом ангелов и грешников с безумными глазами. Швейцар (если это был швейцар) с волнением приплясывал рядом. Я повернулся и, не переставая широко улыбаться, подошел к нему вплотную. «Нет, — сказал я, — я не турист, я — друг семьи. Скажите, а мисс Беренс, случайно, нет дома?» Мои слова его ничуть не успокоили, он по-прежнему мне не верил, однако велел по-

дождать и понесся по коридору, подворачивая одну ногу и на ходу осторожно приглаживая смазанные бриолином волосики.

Я стал ждать. Тишину нарушало лишь тиканье высоких немецких часов семнадцатого века. На стене, у меня над головой, висели шесть изящных акварелей Бонингтона (Ричард Парке Бонингтон (1802-1828) — английский художник.) — таких маленьких, что ничего не стоило спрятать две-три штуки под мышку и спокойно вынести их из дома. Часы натужно вздохнули и глухо пробили полчаса, а в следующую секунду по всему дому, из всех далеких и близких комнат разнесся переливчатый перезвон других часов, и мне показалось, что по дому пробежала легкая дрожь. Я опять посмотрел на картину Тинторетто. А вот Фрагонар. И Ватто. А ведь это только в холле. Что же произошло, чем объяснить, что все это пребывает в таком запустении? Снаружи загудела машина: негромкий, искательный, короткий гудок. Должно быть, таксист решил, что я забыл про него. (Правильно решил.) Где-то в задней части дома хлопнула дверь, и через мгновение я лицом ощутил струю прохладного воздуха. Осторожно ступая по скрипучему паркету, я двинулся по коридору, чувствуя в груди

горячее — почти что чувственное — тревожное посасывание. В сущности, я человек робкий и. оказавшись один в большом, пустынном доме, обычно нервничаю. Вальяжная дама с голубыми глазами и пухлой нижней губкой смотрела на меня с картины Фрагонара с выражением неспокойной, но живой задумчивости. Я осторожно приоткрыл дверь, ощутив ладонью приятную, успокаивающую гладкость толстой дверной ручки, и вошел в длинную, высокую, узкую комнату с несколькими окнами. Обои на стене были цвета тусклого золота. Золотым был и воздух — комната залита была тяжелым нежным предвечерним светом. Ощущение было такое, будто я шагнул в восемнадцатый век. Мебели здесь было мало, не больше пяти-шести предметов; изящные стулья с гнутыми лирообразными спинками, инкрустированный буфет, маленький столик золоченой бронзы — все это было расставлено таким образом, что обращала на себя внимание не обстановка, а скорее свободное пространство между мебелью, игра света и тени. Я стоял посреди комнаты и прислушивался. К чему — неизвестно. На низком столике лежала большая и сложная «картинка-загадка», разгаданная лишь наполовину. Некоторые картинки валялись на

полу и издали походили на маленькие лужицы, точно что-то пролилось на паркет. Я смотрел на эти «лужицы», и мне вновь почудилось, что по всему дому пробежала легкая дрожь. В дальнем конце комнаты дверь в сад была открыта, и кисейная занавеска пузырилась на ветру. За окном виднелся травянистый склон пологого холма, а на незначительном отдалении одиноко гарцевал геральдический конь. Еще дальше извивалась река с белыми прогалинами на мелководье, за рекой темнели деревья, за ними проступали призрачные очертания гор, а за горами тянулись бескрайние просторы золотисто-синего летнего поднебесья. Мне пришло в голову, что перспектива этого пейзажа каким-то образом нарушена. Казалось, все меня окружавшее: и мебель, и открытое окно, и травянистый склон, и река, и далекие горы — не удаляется от меня, как должно было бы, а, наоборот, приближается, как будто не я смотрю на эти предметы, а они смотрят на меня, как будто горизонт не за лесом и горами, а здесь, в комнате. Тут я повернулся и, поворачиваясь, увидел себя поворачивающимся, увидел — и вижу до сих пор, а порой мне мнится даже, что отныне поворачиваться я обречен всегда, так, словно это и есть мое наказание, мое проклятие,

именно это и ничего больше: затаив дыхание, с затуманенным взором, вечно поворачиваться в ее сторону.

Вы видели ее фотографию в газетах, и как она выглядит, знаете. Довольно молодая еще женщина в черном платье с широким белым воротником. Стоит, руки сложены спереди, одна рука в перчатке, другая спрятана, видны только пальцы, согнутые, без колец. Открытый лоб, гладкие волосы зачесаны назад, держатся то ли чепцом, то ли заколкой. Большие черные, чуть раскосые глаза. Нос крупный, губы решив, что это соседка Анны по дому. И тут только я сообразил: ведь это ее я видел в саду на обеде у профессора Х, Я начал было рассказывать ей об этом, о том, что мы уже встречались, но потом осекся — точно так же, как в первый раз, тогда, в саду, почему-то передумал и не заговорил с ней. Она забрала у меня обратно вазу с горохом и снова опустилась в шезлонг. Снова зазвонил телефон, и Анна, что-то промурлыкав в трубку, тихо засмеялась. Мне пришло в голову, что мое присутствие едва ли для них обременительно: не будь здесь меня, они делали бы абсолютно то же самое. Мысль эта утешала. На обед меня не приглашали, но то, что я остаюсь, как видно, подразумевалось. После еды

еще долго сидели за столом. Туман сгустился, давил на окна. Вижу, как они сидят напротив меня в молочных сумерках: брюнетка и блондинка, вид у обеих заговорщицкий, точно они предвкушают какое-то удовольствие, точно задумали — мягко, не зло — надо мной подшутить. Как же давно все это было; кажется, прошло целое столетие, тогда мы были еще совсем невинны — если это можно назвать невинностью. Едва ли.

Признаюсь, я увлекся ими, их внешностью, самообладанием, их небрежной самовлюбленностью. Они олицетворяли собой идеал, к которому я, сам того не подозревая, давно стремился. В те дни я еще занимался наукой, хотел стать одним из великих, непроницаемых технократов, тайных властелинов мира. Но тут нежданно передо мной открылось иное будущее, как будто по мановению этих двух женщин внезапно рухнула гигантская каменная стена и, когда поднявшаяся пыль рассеялась, взору моему предстала бесконечная, ослепительная даль. Обе они были великолепны — и томные, и искрометные одновременно. Они напоминали мне искательниц приключений из романов прошлого века. В Нью-Йорк они приехали зимой и постепенно стали перемещаться на запад, к этому буро-золотисто-

му, залитому солнцем берегу, где они и затаились сейчас, словно стоя на цыпочках, взявшись за руки, расставив локти и вглядываясь в безбрежные просторы Тихого океана. Хотя в этом доме они уже прожили без малого полгода, существование их было столь незаметно, столь мимолетно, что в комнатах их присутствие почти не ощущалось. Казалось, у них нет даже собственных вещей — висевшая на двери соломенная шляпа и та принадлежала давно съехавшему жильцу. Вероятно, у них имелись друзья или. во всяком случае, знакомые (если судить по телефонным звонкам), но сам я ни разу никого не видел. Время от времени, правда, на них сваливалась хозяйка дома, смуглое существо с трагическим выражением лица, с испепеляющим взглядом и черными как смоль волосами, стянутыми в тугой узел, пронзенный резной деревянной заколкой. Одевалась она как индианка, отдавая предпочтение многочисленным стеклянным бусам и разноцветным шарфикам. Она с отсутствующим видом бродила по дому, распространяя терпкий мускусный запах духов, говорила не глядя, через плечо, а потом вдруг, совершив головокружительный балетный прыжок, опускалась на диван в гостиной и часами рассказывала о своих невзгодах (вызванных

в основном тем, что она с дрожью в голосе называла «несложившейся личной жизнью»), не забывая при этом исправно подливать себе из бутылки кальвадос, которым она напивалась до бесчувствия и который хранила в запертом буфете на кухне. Ужасная женщина, я ее не переносил: змеиная кожа, напомаженный рот, постоянная истерика, сусальное одиночество. Мои дамы, однако, находили ее занятной. Они любили ее изображать, да и цитировать тоже. Иногда, слушая, как они ее передразнивают, я думал: а что, если в мое отсутствие они точно так же издеваются и надо мной: вальяжно обмениваются глубокомысленными замечаниями, утрируя мою ленивую манеру говорить, и тихо посмеиваются, причем делают это словно бы нехотя, как будто в их шутке нет решительно ничего смешного.

Смеялись они и над Америкой, особенно над Калифорнией. Сколько раз мы, все втроем, покатывались со смеху, потешались над американцами, именно тогда вступавшими в период истового жизнелюбия, который мы, золотая молодежь бестолковой старушки Европы, уже давно прошли, — так, во всяком случае, нам хотелось думать. Какими наивными они нам казались с этими их цветами, пахучими сигаретками, с их

надуманной религиозностью. Чего греха таить, я втайне испытывал чувство вины оттого, что их высмеиваю. Ведь, приехав сюда впервые, я был от этой страны без ума, а потому теперь чувствовал себя гак, словно вслед за остальными подымаю насмех какое-то счастливое добродушное существо, какую-то молоденькую толстушку, к которой всего несколько минут назад втихаря,полные. Далеко не красавица. В правой руке сложенный веер — а может, книга. Стоит она, насколько я мог разобрать, в дверях, а за дверьми то ли диван, то ли кровать с парчовым покрывалом. Мрак у нее за спиной непроницаемый и в то же время какой-то загадочно невесомый. Взгляд спокойный, выжидательный, хотя в рисунке рта угадывается вызов, больше того — враждебность. Впечатление такое, что здесь она быть не хочет, а в другом месте не может. Золотая брошь, соединяющая крылья ее широкого воротника, — дорогая и уродливая. Все это вы видели, все это вы знаете. И все же довожу до вашего сведения, господа присяжные, тонкие ценители прекрасного, что, даже зная все это, вы тем не менее не знаете ничего, почти ничего. Вы не знаете назначения, высшего смысла ее присутствия. Вы ведь, в отличие от меня, не увидели ее совершенно неожиданно, в

залитой летним солнцем «золотой» комнате. Вы не прижимали ее к сердцу, вы не бросали ее в канаву. И вы… о нет, вы не убивали ради нее.

Я долго стоял на одном месте, вперившись в картину, и постепенно мной овладевало беспокойство, жаркое, стыдливое ощущение самого себя, как будто меня, вонючий мешок потрохов, изучают тщательно и бесстрастно. Причем следили за мной не только глаза на портрете. Абсолютно все — золотая брошь, перчатки, бархатистый мрак на заднем плане, любая точка на холсте — было устремлено на меня. Оторопев, я сделал шаг назад. Тишина словно бы прохудилась, пропуская мычание коров, шум мотора. Я вспомнил про такси и повернулся к выходу. В проеме ведущей в сад двери стояла служанка. Вероятно, она только что вошла и, увидев меня, остановилась как вкопанная: глаза широко раскрыты, нога согнута в колене, одна рука поднята, как будто она прикрывается от удара. Мы оба замерли. За ее спиной по склону холма пробежал, лаская траву, ветерок. Мы молчали. Наконец, не опуская руки, она медленно, осторожно шагнула назад и слегка оступилась, нащупывая ногой мощеную дорожку. Я испытал необъяснимый, мгновенный приступ ярости — своего рода

предзнаменование, легкое дуновение ветра в предвестье приближающейся бури. Где-то звонил телефон. Я повернулся и вышел из комнаты.

В холле не было ни души. Телефон продолжал звонить с какой-то капризной настойчивостью. Я уже вышел на улицу, сбежал по ступенькам, а он все звонил и звонил. Такси, разумеется, не было. Я выругался и заковылял по выложенной брусчаткой аллее в своих испанских мокасинах на тонкой подошве. Низкое солнце било в лицо. Я оглянулся на особняк; окна были охвачены пламенем заката, и казалось, при виде меня они покатываются со смеху. От быстрой ходьбы я вспотел, и меня тут же обленили комары. Я вновь задал себе вопрос: зачем было ехать в Уайтуотер? Вопрос, конечно же, риторический: меня привлек запах денег, точно так же, как эту проклятую мошкару — запах пота. В эти минуты я увидел сам себя, словно смотрел из озаренных пожаром заката окон: тащусь в пыли, вспотевший, злой, тучный, голова опущена, жирная спина согнута, белый костюм помялся под мышками и провис на заду — нелепая, анекдотическая фигура, шут гороховый… И в тот же миг я испытал к себе острую жалость. Господи! Неужели некому мне помочь? Я остановился и тревожно огляделся по сторонам,

словно мой благодетель притаился где-то здесь, за деревьями. Тишина отдавала приглушенным злорадством. Я вновь устремился вперед, и тут до меня донесся приближающийся шум моторов: из-за поворота навстречу мне выехал огромный черный лимузин, а за ним — новенький красный спортивный автомобиль. Машины ехали медленно, на почтительном расстоянии друг от друга, лимузин плавно покачивался на рессорах, и в первый момент я решил, что это похоронный кортеж. Я сошел с дороги на газон, но не остановился. Шофер лимузина, здоровенный, коротко стриженный молодец, сидел прямо и держал руль так, словно на нем установлен реактивный снаряд, который при одном неловком движении будет выпущен и поразит цель. Рядом с ним сидел какой-то сутулый, съежившийся старик; когда машина прошуршала мимо, я успел заметить лишь темный глаз, желтый череп и громадные руки, покоившиеся на изогнутой ручке трости. За рулем спортивной машины сидела блондинка в темных очках. Когда она со мной поравнялась, мы посмотрели друг на друга с безразличным любопытством незнакомых людей, хотя я-то ее, естественно, узнал сразу.

Спустя десять минут, когда я плелся уже по шос-

се и «голосовал», подняв вверх большой палец, меня догнал спортивный автомобиль. Я знал, что это она. Остановился, обернулся. Она осталась в машине, выжидательно сложив на руле руки.

Последовала короткая борьба без слов — кому сделать первый шаг. Пришлось пойти на компромисс. Я вернулся назад, а она вышла мне навстречу. «Мне показалось, что это ты», — сказала она. Мы улыбнулись и замолчали. Она был; в кремовом костюме и в белой блузке. На ее туфлях виднелись следы крови. Волосы оказались желтее, чем я предполагал, и я решил, что, скорее всего, она красится Я сказал, что выглядит она великолепно. Сказал искренне, но произнес эти слова как-то несерьезно и покраснел. «Анна», — проговорил я. Не без некоторого трепета я вспомнил, как однажды, давным-давно, я выкрал конверт от ее письма к Дафне и запершись в уборной, с бьющимся сердцем поднес конверт к губам, чтобы полизать то место, которое, заклеивая конверт, лизнула она. И тут вдруг до меня дошло: да я же люблю ее! Я понял это и нервно, удивленно рассмеялся. Анна сняла черные очки и вопросительно посмотрела на меня. Руки у меня дрожали. «Поехали поговоришь с отцом, — сказала она, — подбодришь его».

Ехала она очень быстро, переключая скорости как бы на ощупь, словно стараясь определить закономерность, отыскать тайную формулу, заложенную в основу всех этих мелких, проворных движений. Я был потрясен, даже немного напуган. От нее веяло нетерпеливой самонадеянностью богатых. Мы молчали. Не прошло и минуты, как мы уже подъехали к дому и, разбрасывая гравий, резке затормозили у входа. Анна открыла свою дверцу и, окинув меня долгим взглядом. покачала головой. «Фредди Монтгомери, — сказала она. — Ну и ну!»

Подымаясь по ступенькам к входной двери, она взяла меня под руку. На нее это было не похоже. Когда мы общались много лет назад, она была отнюдь не сторонница подобных нежностей, нежности — да, но не нежностей. «Господи, по-моему, я перебрала», — сказала она, засмеявшись. Анна ездила в город, в больницу — Беренсу стало плохо с сердцем. В больнице был переполох: в стоявшую на оживленной улице машину подложили небольшое, но на редкость мощное взрывное устройство, и было много жертв. Анна беспрепятственно прошла в отделение скорой помощи. Повсюду лежали распростертые тела. Она смотрела на мертвых и умирающих, и ей

казалось, будто сама она родилась заново. «Какой кошмар, Анна», — сказал я. В ответ она только хмыкнула. «Страшное зрелище, — отозвалась она. — По счастью, у Флинна в „бардачке“ нашлась какая-то выпивка». Перед возвращением Анна приложилась к бутылке и теперь начинала об этом жалеть.

Мы вошли в дом. Швейцар в форме как сквозь землю провалился. Я рассказал Анне, как он впустил меня и куда-то исчез, предоставив мне беспрепятственно ходить по всему дому. Она только пожала плечами: наверно, после взрыва все сидят внизу и смотрят телевизор. «Все понятно, — сказал я, — но ведь в дом мог проникнуть кто угодно». — «Ты что же, полагаешь, кто-то мот войти и подложить бомбу?» — спросила она и взглянула на меня с какой-то особой, горькой усмешкой.

Она повела меня в «золотую» комнату. Дверь в сад по-прежнему оставалась открытой, никакой служанки не было и в помине. Меня охватила какая-то робость, и я старался не смотреть в дальний конец комнаты, туда, где висел, чуть накренившись вперед, словно внимательно вслушиваясь, женский портрет. Я присел на краешек стула эпохи Людовика XIV. а Анна открыла рез-

ной инкрустированный буфет и, достав оттуда джин, разлила его по стаканам. Льда не было, тоник выдохся, но все это значения не имело — очень уж хотелось выпить. Мне по-прежнему не давала покоя мысль о том, что я все это время любил ее. Я был возбужден, озадачен и ужасно счастлив — как ребенок, которому дали поиграть чем-то очень ценным. «Я любил ее», — повторял я про себя, вслушиваясь в эти слова. Мысль эта, возвышенная, благородная и немного шальная, как нельзя лучше соответствовала обстановке «золотой» комнаты. Анна мерила ее шагами — от окна ко мне и обратно, — крепко сжимая стакан обеими руками. Краем глаза я видел, как лениво надувается на сквозняке марлевая занавеска. Дрожь пробегала не только по дому; дрожал, казалось, и сам воздух. И тут стоявший рядом со мной на низком столике телефон вдруг проснулся и истошно заверещал. Анна схватила трубку и закричала: «Да! Да! Да!" — Она засмеялась. — Какой-то таксист, — сказала она. — Ты что, ему не заплатил?» Я взял трубку и поставил таксиста на место. Она пристально, с каким-то жадным любопытством смотрела на меня. «О Фредди, ты стал такой важный», — весело сказала она, когда я положил трубку. Я нахмурился. Я не знал, как

реагировать на эти слова. В ее смехе, в ее тусклом взгляде было что-то истерическое. Впрочем, и я был не лучше. «Смотри», — пожаловалась она,с недовольным видом разглядывая свои залитые кровью туфли. Она щелкнула языкам и, поставив стакан на стол, быстро вышла из комнаты. Я стал ждать. Все это уже было. Я встал, сунул руку в карман и, подойдя к двери в сад, пригубил джин. «Важный» — что она хотела этим сказать? Солнце почти село, и блики света легли на гладкую поверхность реки. Я вышел на террасу. В лицо мне пахнуло живительным, как бальзам, воздухом. Как странно, подумал я, стоять здесь со стаканом в руке, в тиши и покое летнего вечера, когда на сердце такая беспросветная тоска. Я повернулся и посмотрел на дом. Казалось, он быстро летит по неподвижному небу. Хотелось приобщиться к этому богатству, к этой позолоченной свободе. Из глубины комнаты на меня глядели глаза — темные, спокойные, невидящие.

Флинн, широкоплечий коротко стриженный шофер, обогнув дом, подошел ко мне неестественно вкрадчивой походочкой и изобразил на лице подчеркнуто вежливую улыбку, из тех. от которых стынет кровь. Его черные как смоль бандитские усики были так аккуратно подстрижены,

что казалось, они написаны углем на его большом, одутловатом лице. Я еще не говорил, что не люблю усов? Есть в них что-то похабное, что-то, вызывающее у меня гадливое чувство. Нет сомнений, тюремный психиатр мог бы объяснить, что за этим гадливым чувством скрывается, — как нет сомнений и в том, что в данном случае он бы попал пальцем в небо. В усиках же Флинна было что-то особенно отвратительное. Вид их неожиданно, сам не знаю почему, придал мне сил, и я с готовностью последовал за ним в дом. Столовая больше походила на огромную мрачную пещеру, набитую сокровищами. Вошел, опираясь на руку Анны, Беренс — высокий, худой, в дорогом твидовом костюме, с «бабочкой». Передвигался он медленно, с трудом. Голова у него слегка дрожала; гладкая, куполообразная, она напоминала идеальной формы высушенное яйцо. Последний раз я видел Беренса, должно быть, лет двадцать назад. Не скрою, я испытывал к нему живейшую симпатию. Казалось, он покрыт какой-то необыкновенной, искуснейшим образом изготовленной патиной, на манер тех изящных, соблазнительно маленьких нефритовых статуэток, которые стояли на камине и которые я только что внимательно — и не без задней мысли — рассматривал.

Он взял мою руку в свою лапищу и медленно, как тисками, сжал ее, внимательно заглядывая мне при этом в глаза, словно пытаясь обнаружить в них еще кого-то. «Фредерик, — произнес он с придыханием, — ты так похож на свою мать».

Обедали мы за шатким столом, стоящим в эркере высокого, выходящего в сад окна. Приборы были дешевые, посуда — от разных сервизов. В глубинке живут как придется — вот чем запомнился мне Уайтуотер. Этот роскошный особняк не предназначался для людей; все это великолепие не вязалось с людской бессмысленностью, не желало се терпеть. Я смотрел, как Беренс разрезает кусок мяса с кровью. Эти громадные руки, руки убийцы, поразили меня. Я попытался представить его себе молодым, в серых брюках и блейзере, с теннисной ракеткой в руке («Ой, смотрите, это же Бинки!») — и не смог. Разговор зашел о сегодняшнем взрыве, «Надо же, пять человек погибло, — говорил Беренс, — а сейчас, может, уже и шесть — и все от каких-то двух фунтов взрывчатки!» Он вздохнул и покачал головой. Казалось, он не столько потрясен случившимся, сколько находится под впечатлением. Анна почти ничего не говорила, она была бледна, выглядела усталой и расстроенной. Только теперь я

заметил, как она постарела. Женщина, которую я знал пятнадцать лет назад, была по-прежнему здесь, но ее словно бы вставили в более грубую оправу, наподобие климтовских влюбленных. Я посмотрел в окно на фосфоресцирующие серые сумерки и испытал одновременно ужас и смутную гордость от мысли, что я потерял, что могло бы быть. Облака оставались последним освещенным пятном на небе. Пронзительно засвистел дрозд. Когда-нибудь я потеряю и это тоже, умру, и все исчезнет — это мгновение у этого окна, на самом краю нежной летней ночи. Поразительно, но так оно и есть, этого не миновать. Чиркнув спичкой, Анна зажгла стоявшую на столе свечу, и на какую-то долю секунды у меня возникло чувство парения, колебания в этой нежной, таинственной полумгле.

"Моя мать, — начал было я, однако вынужден был остановиться и откашляться, — моя мать, насколько мне известно, отдала вам какие-то картины…» Беренс устремил на меня свой хищный взор. «Продала, — произнес он почти шепотом, — продала, а не отдала». Он улыбнулся. Последовала пауза. Держался он совершенно спокойно. Он очень сожалеет, сказал он, если я приехал специально, чтобы увидеть картины. Он охотно верит,

что для меня они многое значат. Но, к сожалению, он почти сразу же от них избавился. Беренс вновь лучезарно улыбнулся. «Две-три вещицы были вполне милы, — пояснил он, — но здесь, в Уайтуотере, они бы смотрелись неважно».

«Так-то, отец, — подумал я, это к вопросу о том, насколько хорошо ты разбирался в живописи».

«Видишь ли, мне хотелось помочь твоей матери, — продолжал между тем Беренс. — Она ведь болела. Я заплатил ей гораздо больше, чем эти картины стоили. Ты ей об этом, конечно, не говори. По-моему, она собиралась вложить деньги в какой-то бизнес. — Он засмеялся. — А ведь такая возвышенная особа!» — добавил он. Опять последовала пауза. Беренс с довольным видом вертел в руке нож, ожидая, что скажу я. И тут только до меня дошло: вероятно, он подумал, что я приехал требовать назад картины отца. А что, если, несмотря на все его заверения, он все-таки мать надул? Мысль эта необычайно меня раздразнила. «Выходит, старый подлец, — подумал я, смеясь про себя, — ты ничем не лучше всех нас». Я взглянул на отражавшийся в окне профиль Анны. А она-то кто? Одинокая молодящаяся дамочка с морщинами на шее и крашеными волосами? Возможно, Флинн и обслуживает ее

раз в месяц, между мытьем машины и стрижкой усов. Будьте же вы все прокляты! Наполняя свой бокал, я пролил вино на скатерть и остался этим доволен. Мрак, сплошной мрак.

Я рассчитывал, что меня оставят ночевать, но после кофе Анна, извинившись, вышла из-за стола и, вернувшись через минуту, сообщила, что вызвала мне такси. Я обиделся: ехал в такую даль, чтобы с ними повидаться, а мне отказывают в ночлеге. Повисло тягостное молчание. Только что, по моей инициативе, Беренс заговорил о голландской живописи. Интересно, мне это только показалось, или он действительно взглянул на меня с хитрой улыбкой, спросив, заходил ли я в открытую гостиную. Прежде чем я сообразил, что открытой гостиной Беренс называет «золотую» комнату, он вновь заговорил о голландцах. Теперь же он сидел молча, с трясущейся головой, приоткрыв рот, с отсутствующим видом всматриваясь в пламя свечи. Он поднял руку, словно собираясь еще что-то сказать, но тут же медленно уронил ее на колени. В окне вспыхнули фары, послышался гудок. Беренс остался сидеть «Очень рад был повидать тебя, — пробормотал он, протягивая мне левую руку. — Очень рад».

Анна проводила меня до дверей. Я чувствовал,

что повел себя по-идиотски, но в чем именно это выразилось, сообразить не мог. В коридоре гулко отдавались наши шаги — тревожный, несообразный шум. «Сегодня у Флинна свободный вечер, — сказала Анна, — а то бы я попросила его тебя отвезти». — «Ничего страшного», — буркнул я. Неужели, спрашивал я себя, мы и есть те двое людей, что когда-то, жарким воскресным днем, на другом конце света, на другом конце времени, катались вместе с Дафной голыми по постели? Как мог я вообразить, что когда-то любил ее. «Твой отец в неплохой форме», — сказал я. Она пожала плечами: «Что ты, он умирает». В дверях — уж не знаю, с какой стати — я нащупал ее пальцы и попытался ее поцеловать. Она отпрянула, да так проворно, что я чуть не упал. Такси загудело вновь. «Анна!» — сказал я и почувствовал, что добавить мне нечего. Она хмыкнула. «Езжай домой, Фредди», — прошептала она с вымученной улыбкой и медленно закрыла передо мной дверь.

Разумеется, я знал, кто сидит за рулем. «Ничего не говори, — резко сказал я таксисту. — Ни слова!» Он бросил на меня печальный, укоризненный взгляд, и мы, громыхая по брусчатке, пустились в обратный путь. Ехать мне было некуда.

Сейчас сентябрь. Я здесь уже два месяца. А ка-

жется, что еще дольше. У дерева, которое видно из окна моей камеры, вид невзрачный, унылый, скоро с него начнут падать листья. Словно в ожидании этого, оно дрожит (по ночам мне даже кажется, что я эту дрожь слышу), возбужденно шурша листвой в темноте. Небо по утрам великолепное, головокружительно высокое и чистое. Люблю смотреть, как собираются и рассеиваются облака. Такая огромная, такая тонкая работа. Сегодня была радуга; увидев ее, я громко рассмеялся, словно очень смешной шутке. Время от времени мимо моего дерева проходят люди. Так, видимо, короче. В девять утра идут секретарши и делопроизводительницы с сигаретами и с причудливыми прическами, а чуть позже сонные домашние хозяйки с сумками и детьми. Каждый день, ровно в четыре, мимо, еле волоча ноги, проходит школьник с огромным, смахивающим на гроб, ранцем. Попадаются и собаки, эти идут очень быстро, с деловым видом, останавливаются, быстренько орошают дерево и спешат дальше. Другая жизнь, другая жизнь. В последнее время, с наступлением холодов, заторопились все, даже школьник приободрился и прибавил шагу, и из тюремного окна кажется, будто все они летят в зеркально-синем осеннем воздухе.

В это время года мне часто снится отец. Сон один и гот же, меняются лишь обстоятельства. Человек, который является мне во сне, — действительно мой отец, хотя чем-то от него и отличается. Он моложе, крепче, он весел, у него прекрасное чувство юмора. Мне снится, что я приезжаю в больницу или в какое-то другое заведение такого рода и после долгих поисков и расспросов нахожу его сидящим на постели с дымящейся кружкой чая в руке. Волосы у него по-мальчишески взъерошены, на нем пижама с чужого плеча. Он здоровается со мной с застенчивой улыбкой. От волнения, от избытка чувств я порывисто прижимаю его к себе. Он же невозмутим, похлопывает меня по плечу, тихо смеется. Потом я сажусь на стул рядом, и мы какое-то время молчим, не зная, что говорить, куда смотреть. Я понимаю, что совсем недавно он чудом выжил: то ли попал в аварию, то ли потерпел кораблекрушение, то ли перенес тяжелую болезнь. Все несчастья свалились на него из-за его же собственной опрометчивости, безрассудства (это мой-то отец безрассуден?!), и теперь он чувствует себя глупо, стыдится себя самого. Во сне выручаю его всегда я: подаю сигнал тревоги, вызываю «скорую», бросаю в воду спасательный

круг. Мой подвиг сидит на кровати между нами, неуправляемый, как сама любовь, запоздалое свидетельство сыновней заботы. Просыпаюсь я с улыбкой, сердце мое переполнено нежностью. Раньше мне казалось, что в этом сне я спасаю отца от смерти, но последнее время я начал понимать, что освобождаю его не от смерти, а, наоборот, от тяжелой жизни. Теперь, по всей вероятности, мне предстоит совершить еще один, такой же подвиг. Дело в том, что сегодня мне сообщили: умерла моя мать.

К тому времени как мы доехали до деревни, последний автобус в город уже ушел, о чем меня с мрачным удовольствием заранее предупредил таксист. Мы сидели в машине на погруженной в кромешную тьму главной улице, возле магазина скобяных изделий, прислушиваясь к урчанию мотора. ’Водитель повернулся на сиденье, сдвинул кепку, почесал лоб и с интересом уставился на меня, ожидая, что же я буду делать дальше. И опять меня поразило, как смотрят эти люди — с тупой, звериной прямотой. Пришло время дать таксисту имя (зовут его, уж простите, Рок), поскольку еще какое-то время мне придется иметь с ним дело. Он вызвался сам отвезти меня в город, но я отрицательно покачал головой: до

города было никак не меньше тридцати миль, а я уже и так ему задолжал. Или же, сказал он с прегадкой льстивой улыбочкой, меня может приютить его мать, миссис Рок — у нее паб с комнатой наверху. Это предложение тоже не особенно меня вдохновило, но на улице было темно и пусто, да и выставленные в витрине инструменты тоже почему-то настраивали на грустный лад, и я согласился. «Да, — слабым голосом сказал я, коснувшись рукой лба, — да, вези меня к своей матери».

Но на месте ее не оказалось — наверно, уже спала, и таксист сам повел меня наверх но черной лестнице, ступая на цыпочках, как большой, трясущийся паук. В комнате было маленькое, низкое оконце, один стул и кровать с углублением посередине, как будто здесь еще недавно лежал покойник. Пахло мочой и портером. Рок стоял в дверях, смущенно улыбаясь и теребя кепку в руках. Я пожелал ему доброй ночи, и он нехотя ушел. Последнее, что я увидел, была его костлявая рука, которой он медленно прикрыл за собой дверь. Я прошелся по комнате, осторожно ступая по скрипучим половицам. Вот не помню, ломал я себе руки или нет? Низкое оконце и продавленная постель создавали ощущение диспропорции:

мой рост казался мне слишком высоким, ноги — слишком большими. Я присел на край кровати. В окно пробивался слабый свет. Если наклониться вперед и вбок, можно было увидеть кривой колпак трубы и силуэты деревьев. Я почувствовал себя мрачным героем русского романа: сижу в крохотной комнатушке над пивной, в деревне без названия, в году невесть каком; сижу и вспоминаю, что со мной приключилось.

Всю ночь я не сомкнул глаз. Простыни были влажные и какие-то скользкие — как видно, не я первый вертелся на них после стирки; лежал я неподвижно, сжавшись как пружина, — только поменьше бы с ними соприкасаться. Каждый час где-то вдалеке гулко звонил церковный колокол. Слышны были, как водится, лай собак и мычание коров. Звук моих собственных нервных вздохов выводил меня из равновесия. Время от времени проезжал грузовик или легковая машина, и тогда освещенный прямоугольник быстро проплывал по потолку, сбегал по стене и таял в углу. Мучительно хотелось пить. Меня преследовали причудливые и непристойные видения. Один раз, уже засыпая, я ощутил внезапное и жуткое чувство падения и, вздрогнув, проснулся. Как я ни пытался гнать от себя мысль об Анне Беренс, она

не шла у меня из головы. Что с ней случилось, почему она живет затворницей в этой кунсткамере, ни с кем, кроме умирающего старика, не общаясь? А впрочем, может, ничего и не случилось, все произошло как-то само собой. Может, просто незаметно тянулось время, пока, проснувшись однажды утром, она не обнаружила, что застряла на полпути. Я представил ее печальной и одинокой, навсегда заколдованной в своем волшебном замке и… Какие только безумные мысли не лезли мне тогда в голову, лучше уж лучше об этом не вспоминать. И вот, когда я предавался подобным размышлениям, другая мысль, куда более мрачная, начала раскручивать свою темную пряжу. В результате план мой возник из путаницы разнородных идей о рыцарском долге, спасении любимой и вознаграждении. Уверяю вас, ваша честь, я вовсе не пытаюсь тем самым оправдать свои действия; мне хочется всего-навсего дать понять, чем я руководствовался, объяснить свои поступки, а вернее, то, что стояло за ними, — если это вообще возможно. Часы шли, в маленьком окошке вспыхивали и гасли звезды, и постепенно Анна Беренс слилась в моем сознании с другими женщинами, с которыми я был так или иначе связан, — естественно, с Дафной, с матерью и даже

с рыжей девицей с конюшни. Однако под конец, когда уже светало, над моей постелью возникла голландка с висящего в золотой комнате портрета; она спокойно и в то же время испытующе, скептически взирала на меня. Я встал, оделся, сел на стул у окна и стал смотреть, как пепельный свет дня опускается на крыши домов, проникает в листву деревьев. Мозг мой лихорадочно работал, кровь стучала в висках. Теперь я знал, что делать. Я был возбужден и вместе с тем испытывал какой-то сверхъестественный ужас. Снизу до меня донеслись голоса. Мне хотелось поскорее уйти отсюда, уйти и начать действовать. Я подошел было к двери, но передумал, прилег буквально на минуту, чтобы немного успокоиться, — и тут же погрузился в глубокий, дремучий сон. Мне трудно описать это: ощущение было такое, будто меня сбили с ног. Сон длился не больше двух-трех минут. Когда я пробудился, меня трясло. Казалось, трясется все мироздание. Так устрашающе начался — и потянулся — этот день.

Миссис Рок была высокая и худая. Нет, она была маленькая и толстая. Я ее плохо запомнил, да мне и незачем ее помнить. Господи, сколько можно выдумывать карикатур? Я вызову ее в качестве свидетеля, и вы сами составите о ней

впечатление. Сначала я подумал, что у нее что-то стряслось — так она мямлила и заикалась, — но потом понял, что она попросту ужасно, мучительно стесняется. В комнатке за баром она накормила меня сосисками, шпиком и кровяной колбасой (не зря же говорят, что плотно едят по утрам только палачи). Тишина стояла такая, что я сам слышал, как работаю челюстями. Тени паутиной висели по углам. На стене я увидел сочную, малиново-кремовую литографию с изображением кровоточащего Христа и фотографию римского папы, благословляющего многотысячную толпу с балкона в Ватикане. Уныние, точно изжога, обжигало внутренности. Рок, он был в подтяжках и в рубашке с закатанными рукавами, возник в дверях и кротко полюбопытствовал, все ли у меня в порядке. «Не то слово! — бодро произнес я в ответ. — Не то слово!» Он стоял и смотрел на меня с ласковой улыбкой, с какой-то счастливой гордостью. Что ж, теперь ему будет, о чем рассказать. Ах, эти бедные, безыскусные души, на которых я оставил свои грязные следы. Ведь он ни разу не напомнил мне про деньги, которые я был ему должен. Специально позвонил по телефону извиниться, что уехал, меня не дождавшись. Я встал и проскользнул мимо

него за дверь. «Я на минутку, подышать свежим воздухом», — обронил я, чувствуя, как по моим губам, словно какая-то липкая патока, скользит притворная улыбка. Он кивнул, и по лицу его легкой тенью пробежала печаль. Ты же знал, что я собираюсь сделать ноги, а? Почему тогда меня не остановил? Нет, не понимаю я этих людей. Я уже говорил. Решительно не понимаю.

Сквозь редеющую дымку пробивалось солнце. Было еще немыслимо рано. Дрожа от нетерпения, я прошелся по главной улице — сначала по одной стороне, потом по другой. Прохожие попадались редко. Интересно, кто это выдумал, что сельские жители рано встают? Проехал фургон с прицепом, в котором везли свинью. В конце улицы был мостик через мелкую бурную речку. Я присел на парапет и некоторое время смотрел на воду. Надо бы побриться. Может, вернуться к Року и взять у него бритву? Нет, на подобное хамство даже я был не способен. Несмотря на ранний час, становилось жарко. То ли оттого, что сидел я на самом солнце, то ли потому, что неподвижно смотрел, как журчит и извивается подо мной речушка, но у меня закружилась голова. В это время, возникнув невесть откуда, со мной заговорил высокий старик в сандалиях и рваном плаще, накинутом

на плечо, на манер пледа у шотландских горцев: в руках он держал посох, толстую ясеневую палку. Волосы длинные, борода спутанна. Сам не знаю почему, я живо представил себе его косматую голову на блюде. Говорил он спокойно, громким, хорошо поставленным голосом. Из того, что он говорил, я не понял абсолютно ничего — вероятно, он утратил способность членораздельно произносить слова, и в то же время было что-то невыразимо трогательное в том, как он, опираясь на свой посох, согнув одну ногу в колене и не спуская с меня глаз, произносит свой нескончаемый монолог. Я внимательно следил за тем, как в чаще усов шевелятся его губы, и медленно, серьезно кивал головой. Сумасшедшие не пугают меня и даже не выводят из себя. Больше того, бред, который они несут, меня успокаивает. Думаю, происходит это потому, что абсолютно все, от упавшего метеорита до осыпавшейся в пустой комнате штукатурки, имеет для них огромное и равное значение — а следовательно, лишено всякого смысла. Он закончил свою речь и с минуту молча смотрел на меня. А затем угрюмо кивнул и, метнув последний, значительный взгляд, повернулся и зашагал через мост.

Ваша честь, я не забыл свои слова о том, что

мной вынашивался некий план. Поверьте, план этот был весьма расплывчатым. Я ведь никогда не был особенно силен в деталях. Ночью, когда цыпленок вылупился из яйца и впервые расправил свои липкие, хрупкие еще крылышки, я сказал себе: с наступлением утра, с началом нормальной жизни ты сам посмеешься над своими бредовыми идеями. И я над ними действительно посмеялся, хотя и задумался тоже. Скажу больше: мне эти идеи смешны и сейчас; я больше чем уверен: не попади я в эту дыру, где мне оставалось лишь предаваться мрачным раздумьям, ничего бы не произошло. Я бы отыскал Чарли Френча, занял бы у него денег, вернулся на остров, заплатил долг сеньору Агирре, после чего забрал бы жену и ребенка, вернулся домой, в Кулгрейндж, помирился с матерью и стал бы, вслед за отцом, мелким землевладельцем. Жил бы себе поживал и был бы счастлив. Ах…

Так о чем я? Да, о плане. Ваша милость, я — не выдающийся ум. Газеты, которые с самого начала подняли жуткий крик (и неудивительно: был ведь мертвый сезон, а я подкинул им такую лихую историю), изображали меня то безрассудным головорезом, то расчетливым, предусмотрительным, хладнокровным чудовищем. Но, клянусь

вам, это, да и все вообще, произошло по чистой случайности. Поначалу, лежа без сна эдаким добрым принцем в пряничном домике матушки Рок и глядя, как невинные звезды молча заглядывают в окно, я лишь играл в эту затею, делясь ею с самим собой, как делятся перед сном увиденным и услышанным. Утром же я встал, поднес ее к свету, и она начала приобретать форму и вес. Мне почему-то казалось, что пришла она в голову кому-то другому, мне же следует ее оценить, апробировать. Такого рода взгляд со стороны и был, как я теперь понимаю, основной прелюдией к действию. Быть может, этим в какой-то мере и объясняется то странное чувство, которое я испытал гам. на мосту, стоя над журчащей речушкой. Описать его сложно. Я чувствовал, что не имею с самим собой ничего общего. То есть я был прекрасно знаком с этим крупным, рыхлым, светловолосым мужчиной в помятом костюме, сидевшим на парапете и нервно перебиравшим пальцами, — и в то же время ощущение было такое, будто меня (настоящего, думающего, чувствующего меня) заманили в тело, которое мне не принадлежит. Нет, не совсем так. Ведь тот, кто находился внутри меня, был тоже мне чужд — собственно, еще более чужд, чем знакомое

мне физическое существо. Я выражаюсь неясно, я понимаю. Я хотел сказать, что находившийся во мне был мне чужд, — но что значит «мне», какое из многих «я» имеется тут в виду? Нет, и это тоже звучит очень неясно. Скажу лишь, что ощущение это было для меня не ново. Я всегда чувствовал — как бы это сказать? — раздвоенность, да, раздвоенность. Но в гот день чувство это было сильнее, определеннее, чем обычно. Толстячку моему не сидела внутри, он рвался наружу. Взаперти он просидел так долго, он так извелся изнервничался, что я знал: вырвавшись наконец из плена, говорить он будет умолку. У меня все плыло перед глазами. Меня выворачивало наизнанку. Интересно, понимает ли суд, в каком состоянии были у меня нервы, — и не только в день, но и все то время. Жену с ребенком я оставил заложниками у опасных людей сам я не имел ни гроша за душой; даже завещанное мне отцом весьма скудное ежеквартальное пособие я мог получить не раньше чем через два месяца… Измученный, с красными глазами после бессонной ночи, небритый, без денег, заехавший невесть куда, вынашивающий безумные планы — вот в каком состоянии я то находился. Что ж удивительного, что у меня все плыло перед гла-

зами, что меня выворачивало наизнанку?

Почувствовав, что деревня пусть лениво, медленно, но просыпается, я двину обратно по главной улице, украдкой поглядывая по сторонам, чтобы не встретит с настырным Роком или, не дай Бог. с его мамашей. Утро было солнечное безветренное, росистое и какое-то изумленное — будто опьяневшее от своей собственной первозданности. На тротуаре блестели лужицы. День обещал б) восхитительным. Да, восхитительным.

Ноги сами несли меня к магазину скобяных изделий, тому самому, возле которого Рок остановил машину накануне вечером. Ноги сами принесли, а рука сама толкнула входную дверь, колокольчик звякнул, и я вошел внутрь.

Полумрак, запах парафина и льняного масла; под потолком гроздьями висели какие-то предметы. Низкорослый плотный пожилой лысеющий человек подметал пол. Он был в войлочных домашних туфлях и в светло-бежевом хлопчатобумажном халате из тех, что носили в магазинах во времена моего детства. Он улыбнулся кивнул мне и поставил метлу в угол, однако заговорил — профессиональный эти не иначе, — лишь когда зашел за прилавок, облокотился на него и склонил голову набок. Такому только очков в

железной оправе не хватает, подумал я. Мне понравился с первого взгляда. «Добрый день, сэр», произнес он веселым, с хрипотцой голосом. Я уже чувствовал себя много лучше. Он был вежлив именно как надо, — без излишней искательности и без малейшего намека на любопытство Я купил шпагат и рулон оберточной бумаги, а также моток веревки, туго накрученной (я почему-то запомнил это) на барабан, как на перекладину виселицы: это б добротная, крепкая, гладкая пенька, не то что современная искусственная бечевка Для чего мне нужны были все эти вещи, я представлял себе довольно ему Веревка, например, была чистым баловством. Ну и что? Такого естественного жадного удовольствия я не испытывал уже многие годы — десятки лет! Продавец любовно разложил передо мной на прилавке все мои покупки и, что-то мурлыкал себе под нос, одобрительно улыбался. Все это напоминало детскую игру. В вымышленном мире я мог иметь все, что хотел. Например, шипорезную I с рукояткой красновато-желтого цвета. Или каминные щипцы с ручкой в виде, приседающих обезьян. Или вон то эмалированное ведро с изящной тенью теле голубого цвета, что легла на его правый бок. Все что душе угодно! Вот тут-то мне на глаза и

попался молоток. Блестящий, из нержавеющей стали, похожий издал берцовую косгь какого-то быстроногого животного, с бархатистой черной рез вой ручкой, вороненой головкой и гвоздодером. Я ужасно неловок, для меня забить гвоздь — проблема, но иметь такой молоток мне втайне хотелось всегда. Предвидя очередное оживление в зале суда, грубый хохот газетчиков-всезнаек. Однако я повторяю, ваша честь, я настаиваю, многоуважаемые и многоопытные господа присяжные: обладать этой великолепной игрушкой было невинным желанием, жаж зудом, который испытывал скрывавшийся во мне обделенный ребенок, не толстяк, нет, а призрак моего утраченного детства. И тут мой благодетель, крестный отец впервые заколебался. «Есть ведь и другие образцы, сэр. — попробовал было переубедить он меня, — менее… (быстрым, захлебывающимся шепот менее дорогие, сэр». Но нет, нет, я был не в силах отказать себе в этом удовольствии. Я должен был, просто обязан был приобрести этот молоток. Вон тот. Да, с этикеткой. Или, говоря научным языком, вещественное доказательство а один.

Я вывалился из скобяной лавки со свертком под мышкой и с затуманенным от счастья взо-

ром. На губах моих играла блаженная улыбка подвыпившего школьника. Владелец магазина вышел на порог и долгим взглядом смотрел мне вслед. Руку он пожал мне с каким-то странным, таинственным видом. Может, он был масоном и испытывал меня на предмет вступления в их тайное братство? Но нет, я все же склоняюсь к мысли, что это был просто приличный, добродушный, благожелательный человек. В моих свидетельских показаниях таких, как он, не так уж много.

Деревню, судя по всему, я изучил неплохо. Меня не покидало ощущение, будто я уже здесь бывал и даже делал то же самое: бесцельно слонялся ранним утром по улицам, сидел на мосту, заходил в магазин… Объяснить что я не могу: ощущение есть ощущение. Казалось, мне когда-то приснился пророческий сон, который я забыл, и вот теперь пророчество сбывается. Да и вообще, во всех моих поступках в тот день чувствовалась какая-то неумолимость. Прошу понять меня правильно: неумолимое на моем языке вовсе на значит простительное. Не зря же, в самом деле, в жилах моих течет гремучая смесь католической и кальвинистской крови.

Тут только мне вдруг, с какой-то счастливой непоследовательностью, пришло в голову, что

сейчас середина лета.

Это поразительная страна: человек с приличным произношением может добиться чего угодно. Я-то думал, что направляюсь на автобусную остановку выяснить, когда идет в город очередной автобус, однако вместо этого (опять неумолимость!) обнаружил, что стою в деревенском сквере у входа в старенький, покосившийся гараж. Какой-то парень в грязном комбинезоне с чужого плеча, что-то насвистывая уголком рта, накачивал шины. Ржавая табличка у него над головой гласила: «Мельмот: машины напрокат». При моем появлении парень перестал насвистывать и молча воззрился на меня, продолжая беззвучно шевелить губами. «Машины? — спросил я, показывая на табличку. — Напрокат, да?» И я повертел в воздухе воображаемым рулем. Парень ничего не ответил и озадаченно нахмурился, как будто я попросил у него нечто совершенно экзотическое. Тут в дверях появилась полная, грудастая матрона в алой блузке, в черных брюках в обтяжку и в босоножках на высоких каблуках. Ее черные как смоль волосы были зачесаны назад, на щеки спадали вьющиеся прядки. Кого-то она мне напоминала. Матрона сделала парню резкое замечание и провела ме-

ня в контору, где я, среди аляповатых цветных открыток, пришпиленных к стене над ее столом, наметанным взглядом отыскал открытку с изображением «моего» острова — и не только гавань, но и бар, тот самый, где я впервые встретился с Рэндольфом-американцем. Я занервничал: это походило на предзнаменование, быть может, даже на предупреждение. Матрона ощупывала меня подозрительным взглядом. И тут-только я сообразил, кого она мне напоминает: мать плачущего ребенка в квартире сеньора Агирре.

Достался мне «хамбер»: огромная, тяжелая, на высоких рессорах машина, не настолько старая, чтобы называться допотопной, — просто безнадежно устаревшая. Казалось, предназначалась она для более простой, более невинной эпохи, чем наша; эпохи, населенной взрослыми детьми. От обшивки сидений веяло нечистотами. Я неторопливо проехался по деревне на третьей скорости, глядя на дорогу сверху, как будто меня несли на носилках. Мотор издавал звук, похожий на приглушенное ликование многотысячной толпы. Я заплатил вперед пять фунтов и подписался на квитанции фамилией «Смид» (решив про себя, что «д» вместо «т» — дьявольски тонкий ход). Черноволосая красавица не поинтересовалась

даже, есть ли у меня водительские права. Говорю же, это поразительная страна. Мне стало почему-то необычайно легко на душе.

Кстати об автомобильных поездках. Сегодня трое в штатском посадили меня в закрытый автомобиль и повезли на похороны материей как повезли! Мы неслись по городу с включенной сиреной, все происходило так же, как во время моего ареста, — только наоборот. Было прелестное солнечное прохладное утро, в воздухе стояла бледная дымка, мостовую кое-где покрывали опавшие уже листья. Я испытывал разноречивые чувства: некоторую, естественно, обделенность, боль, но вместе с тем и душевный подъем, и нечто вроде тоски, которая, однако, не лишена была определенной сладости. Я оплакивал не только свою мать и даже не столько ее сколько все вообще. А может, это была обычная осенняя меланхолия в необычных обстоятельствах? Сначала мы ехали вдоль реки, и над нами, в высоком небе, неслись, обгоняя друг друга, прозрачные голландские облака, а потом свернули на юг и покатили по тенистым пригородам. Море, как всегда, поразило меня: чаша голубого с оловянным отливом металла, свет хлопьями подымается над водой. Все трое штатских были заядлыми курильщика-

ми, они сосредоточенно, как будто это входило в их обязанности, курили одну сигарету за другой. «Чем-чем, а этим не грешу», — сказал я, и они вежливо рассмеялись. Вид у них был напряженный, они то и дело посматривали в окно, как будто ехали на пикник с родственником, который пользовался в городе дурной славой, и боялись, что в его обществе их могут увидеть знакомые. Город остался позади, над полями еще стлался туман, живые изгороди пропитаны были влагой. Похоронили ее на семейном участке, на старом кладбище в Кулгрейндже. Мне не разрешили выйти из машины, даже опустить стекло я не имел права, и это меня нисколько не огорчило: после всего происшедшего я не готов был вот так. запросто выйти в мир. Шофер поставил машину недалеко от разрытой могилы, и сквозь клубы табачного дыма я имел возможность наблюдать в запотевшее стекло все перипетии короткой и заезженной драмы, что игралась среди покосившихся надгробий. Народу пришло немного: пара тетушек да старик, который много лет назад работал у отца на конюшне. Была, разумеется, и рыжая Джоанна: глаза красные, личико распухло о г слез, все тот же бесформенный свитер и перекрученная юбка. Чарли Френч стоял чуть

поодаль, неловко сцепив на животе руки. Я не ожидал, что он придет. С его стороны это был благородный, больше того — мужественный поступок. Ни он, ни рыжая девица не смотрели в мою сторону, хотя наверняка чувствовали на себе пристальный взгляд моих влажных глаз. Гроб показался мне на удивление маленьким: такая большая яма и такой маленький гроб. Бедная мать. Не могу поверить, что ее нет, никак не свыкнусь с этой мыслью. Кажется, будто она ушла, чтобы освободить место для чего-то более важного. Очередная ирония судьбы: подожди я еще пару месяцев, и не было бы необходимости… Нет, довольно об этом. Завещание будет зачитано без меня — и это совершенно справедливо. Во время нашей последней встречи, в тот день, когда я уехал в Уайтуотер, я чуть было с ней не подрался. В тюрьме она меня не навещала, и я ее не виню. Я ведь не удосужился даже привезти ей внука. Она оказалась не такой стойкой, как я предполагал. Выходит, и ей я тоже загубил жизнь? Сколько их, этих загубленных женских жизней.

Когда траурная церемония завершилась, Чарли Френч прошел мимо машины с опущенной головой. В какой-то момент он заколебался, замедлил шаг, но передумал и пошел дальше. Уверен, он

заговорил бы со мной, если б я не сидел в окружении штатских и если бы за ним следом не шли сгоравшие от любопытства тетушки. И если бы… и если бы не ужас всего происходящего.

Итак, я выехал из деревни на «хамбер-хоке» с идиотской улыбкой на лице. Мне почему-то казалось, что все мои проблемы остаются позади, я воображал, что они, как и эта деревенька, с каждой минутой становятся все меньше и меньше, растворяются во времени и пространстве. Разумеется, если б я хоть на минуту задумался, то понял бы, что позади остаются не многочисленные проблемы, как мне по наивности представлялось, а всевозможные улики, столь же очевидные и неопровержимые, как кровавое пятно или прядь спутанных волос. Я сбежал из пивной матушки Рок, не расплатившись с ней за ночлег; в деревенской лавке я приобрел все необходимое для кражи со взломом; теперь вот вдобавок украл машину — и все это меньше чем в пяти милях от Уайтуотера, который совсем скоро будет фигурировать как «место преступления». Суд согласится, все это никак не свидетельствует о предумышленности содеянного. (Кстати, почему почти все, что я говорю, может восприниматься как своего рода преамбула к просьбе о смягчении

приговора?) Нет, я тогда вообще ни о чем таком не задумывался, а блаженно плыл сквозь солнце и тень по узким пятнистым дорогам, держа левую руку на руле и выставив локоть правой в открытое окно, глубоко вдыхая сельский аромат и ловя ртом дуновение ветерка, пробегавшего по моим волосам. Уж не знаю, чем объяснить такой душевный подъем, — возможно, я попросту бредил. Как бы то ни было, я твердил себе, что это всего лишь игра и остановиться можно будет в любой момент.

А за деревьями тем временем показался Уайтуотер.

У ворот стоял пустой экскурсионный автобус. Дверца кабины была открыта; нежился на солнце, сидя на ступеньках, шофер. Проехав мимо, я свернул в аллею, и он проводил меня ленивым взглядом. Я помахал ему. Он был в темных очках. Он не улыбнулся. Он меня запомнит.

Впоследствии полиция никак не могла понять, почему я пренебрегал элементарными мерами предосторожности, почему надо было ехать при свете дня, да еще в такой допотопной, бросающейся в глаза колымаге. Но ведь я, вы поймите, настраивался на конфиденциальный разговор с Беренсом, Анне же отводилась, да и то лишь в

крайнем случае, роль посредника. Тогда я и представить себе не мог, что кончится все полицией, арестом, газетными шапками… Я-то рассчитывал на самую обычную сделку между цивилизованными людьми, решил, что вести буду себя жестко, но вежливо — не выходя за рамки приличий. Ни о каких угрозах, ни о каком выкупе я, разумеется, и не помышлял. Когда впоследствии я прочел, что пишут газетчики (свои статьи обо мне они печатали под рубрикой «Летняя облава»), то, как ни силился, не мог узнать себя в этом хладнокровном, безжалостном убийце. Это я-то безжалостный?! Нет, подъезжая к Уайтуотеру, если я чего и боялся, то никак не полиции, а шофера Флинна с его маленькими свиными глазками и мясистыми боксерскими лапами. Да. от Флинна следовало держаться подальше.

Посередине аллея…

Господи, опять эти бесконечные подробности!

Посередине аллея раздваивалась. Деревянная стрелка со словом ДОМ, написанным на ней белой краской, указывала направо; табличка, на которой значилось ПРОЕЗД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН, — налево. Я притормозил. Вот он я: крупное, плохо различимое за ветровым стеклом лицо, бегающие глаза — куда ехать, направо или налево?

Чем не иллюстрация к назидательной притче: грешник не ведает, какой путь избрать. Я свернул налево, и сердце мое тревожно сжалось. Глядите, несчастный сворачивает с пути праведного.

Я объехал южное крыло дома, поставил машину на траве и проплел по лужайке к «золотой» комнате. Дверь в сад открыта. Глубокий вздох облегчения. Не было еще и двенадцати. Где-то в поле урчал трактор; его сонное жужжанье казалось голосом самого лета; я и сейчас его слышу: едва различимая, далекая, заунывная песня. Веревку и молоток я оставил в машине, с собой же взял шпагат и рулон оберточной бумаги. И тут вдруг я осознал всю абсурдность задуманного. Я громко засмеялся и, смеясь, вошел в комнату.

Картина (теперь это, должно быть, общеизвестно) называется «Портрет дамы с перчатками». Размер: 82x65. По заключению специалистов (которые исходили в основном из покроя одежды), относится холст к 1655 — 1660 годам. Строгое черное платье с широким белым воротником и манжетами несколько оживлялось брошью и золотым шитьем на перчатках. В чертах лица дамы есть что-то неуловимо восточное (эту мысль я почерпнул из каталога «Картинная галерея Уайтуотер-хаус»). Портрет приписывался и Рем-

брандту, и Франсу Хальсу, даже Вермеру. Однако вероятнее всего, что картина принадлежит все же кисти неизвестного художника.

А впрочем, какое это имеет значение?

Мне приходилось стоять и перед другими, более значительными полотнами, однако ни одно из них не произвело на меня столь сильного впечатления. Здесь, на стене у меня над столом, висит теперь репродукция этой картины — ее прислала мне (подумать только!) сама Анна Беренс. Когда я подымаю глаза на портрет, у меня колотится сердце. В том, как эта женщина на меня смотрит, в безмолвной капризной требовательности ее глаз есть что-то такое, от чего нельзя скрыться, нельзя отвлечься. Я корчусь под се неподвижным взором. Она словно бы требует от меня какого-то сверхусилия, какого-то нечеловеческого напряжения, на которое я едва ли способен. Всякий раз мне кажется, что она просит меня оставить ее в живых.

Ее. Конечно же, никакой «ее» нет. Есть только краски и игра света и тени. И все же попытаюсь вдохнуть в нее жизнь. На вид ей лет тридцать пять — — тридцать шесть, хотя люди ненаблюдательные считают, что она гораздо моложе. Живет она с отцом, он купец (табак, специи и — между

делом — рабы). После смерти матери на ней весь дом. Мать свою она не любила. Отец боготворит ее, своего единственного ребенка, называет «мое сокровище». Она продумывает меню (у отца слабый желудок), наведывается на кухню и даже — в винный погреб. В маленькой записной книжке, что висит у нее на поясе на золотой цепочке, она ведет опись домашней утвари, пользуясь для этого какими-то ей одной понятными значками — читать и писать она так и не выучилась. С прислугой она строга и вольностей не допускает. Их неприязнь она принимает за уважение. Забот по дому ей мало, ее энергия распространяется и за его пределы: она ухаживает за больными, входит в попечительский совет городской богадельни. Она резка, порой невоздержанна на язык, и в попечительском совете ее недолюбливают, особенно старухи. Иногда, обычно весной или в начале зимы, она хворает. Обратите внимание на нездоровую бледность ее кожи: ее подтачивает неведомый недуг. Тогда она ложится в постель и неделями лежит молча, еле дыша, а за окном, в серебристом северном свете жизнь идет своим чередом. Она пробует молиться, но Господь ее не слышит. Вечерами, ступая на цыпочках, к ней наведывается отец. Слабость дочери пугает его,

он вспоминает, как умирала его жена, как ужасно она молчала все последние недели. Если теперь он потеряет и дочь… Но она встает, усилием воли заставляет себя встать, и очень скоро прислуга вновь испытывает на себе ее неуживчивый нрав. Отец же не может скрыть радости, выражается его радость в тихом хихиканье, в шаловливых ласках, в грубоватых шутках. Она с недоумением смотрит на него, а затем вновь возвращается к своим обязанностям. Не понимает она одного: с какой стати взбрело ему в голову заказать ее портрет. «Я стар, — только и твердит он ей, — я старый человек, взгляни на меня». И он стыдливо смеется и отводит глаза. «Мой портрет? — удивляется она. — Мой?! Художнику будет неинтересно меня писать». На это он только пожимает плечами, что поначалу ее смущает, а затем даже немного забавляет: ну хоть бы попробовал настоять на своем. Кажется, он понимает, почему она отказывается позировать, и пытается спорить, однако волнуется, и она, видя, как он суетится, как раздражается, как хватается за манжеты, ловит вдруг себя на мысли, что он и в самом деле постарел. Ее отец — старик. В наблюдении этом есть что-то уныло-комическое, однако объяснить себе, почему это так, она не в

состоянии. «У тебя красивые руки, — запальчиво говорит он, сердясь одновременно и на нее, и на себя самого, — как у твоей матери. Мы скажем ему, чтобы он обратил внимание на руки». И вот, чтобы доставить отцу удовольствие, отчасти же из тайного любопытства, она однажды утром является в мастерскую художника. Грязь, убожество — вот что бросается ей в глаза в первую очередь. Кругом пыль, на полу и на мебели пятна краски, на сальной тарелке обглоданные кости, в углу комнаты, на полу — ночной горшок. Не лучше и сам художник: грязный, заляпанный краской халат, черные ногти, багровый, изрытый оспой нос пьяницы. В мастерской дурно пахнет, однако изо рта живописца пахнет еще хуже. Она с облегчением вздыхает: она-то ожидала увидеть юного повесу, с которым опасно иметь дело, а увидела старого, толстобрюхого пьянчугу. Но тут его маленькие, влажные глазки мельком пробегают по ее лицу, и она жмурится, как будто в глаза ей ударил ослепительный свет. Никто еще не смотрел на нее так. Значит, вот он какой, взгляд художника? Есть в нем, в этом взгляде, что-то непристойное. Сначала он ставит ее у окна, но это положение его не устраивает: свет падает не с той стороны. Тогда он начинает водить ее

по всей комнате, бесцеремонно хватая за руки выше локтя и переставляя с места на место. Ей бы следовало возмутиться, но она понимает, что здесь ее слова своего действия не возымеют. Он на голову ниже ее. Он начинает делать эскизы, сначала карандашом, потом красками — и велит ей прийти назавтра в то же время. «Да, и наденьте платье потемнее», — бросает он ей вдогонку. Ну и ну! Ее подмывало сказать ему все, что она о нем думает, но он уже отвернулся и занялся совсем другим делом. Служанка, которая ждет ее у входа в мастерскую, кусает губы, чтобы не рассмеяться. На следующий день она, нарушив договоренность, позировать не приходит и через день тоже — пусть знает. Когда же, на третий день, она все-таки появляется в мастерской, он, ни словом не обмолвившись о пропущенных днях, окидывает придирчивым взглядом ее черное платье (чистый шелк, широкий воротник из испанского кружева) и рассеянно кивает, отчего она приходит в такое неистовство, что сама себе удивляется. На этот раз он ставит се перед диваном. «Снимите перчатки, — говорит он, — мне велено написать ваши руки». В его голосе слышится некоторое пренебрежение, и она отказывается. (Только этого еще не хватало!) Он

настаивает. Между ними завязывается короткая перепалка, они обмениваются язвительными колкостями, и в конце концов одну перчатку она снять соглашается, после чего тут же прячет руку, которую только что обнажила. Он вздыхает, пожимает плечами, но, поймав на себе ее взгляд, с трудом сдерживает улыбку. По оконному стеклу стекают капли дождя, над крышами стелется дым. В небе большая серебристая дыра. Сначала она нервничает, но затем словно бы переступает через какой-то невидимый барьер, и ею овладевает мечтательный покой. И так каждый день: сначала волнение, затем порыв, а далее тишина и какая-то невесомость, как будто она плывет куда-то, прочь от самой себя. За работой он все время что-то бормочет. Он возбужден: ругается, щелкает языком, вздыхает, охает. Бывает, что он подолгу, утробно сопя, стоит, низко склонившись над холстом, и тогда ей видны лишь его короткие ноги и старые сношенные сапоги. Даже ноги и те пребывают у него в постоянном движении. Ей хочется смеяться, когда он выглядывает из-за мольберта и, прищурившись, шмыгая своим носом-картошкой, сверлит ее колючим взглядом. Смотреть на недописанный портрет, даже мельком, он ей не разрешает. И вот в один прекрасный день с его

конца мастерской доносится до нее что-то вроде чуть слышного, но какого-то решительного треска, и он, с выражением усталого раздражения отступив от мольберта, отмахивается от холста и отворачивается, чтобы вытереть кисть. Она подходит и смотрит. Сначала она не видит ничего, так она потрясена уже одним тем, что он закончил и отвернулся; ей кажется, будто… будто она каким-то образом вышла из самой себя. Минута тянется бесконечно, «Брошка… изрекает она наконец. — Брошка получилась великолепно…» Звук се собственного голоса пугает ее; кажется, что за нее говорит кто-то другой. Он смеется и не ядовито, а с неподдельным удовольствием и, как ей думается, с каким-то даже сочувствием. Тем самым он признает… она сама не знает, что он признает. Она-то думала, что портрет — это все равно что смотреться в зеркало, а с холста на нее глядит кто-то, кого она не узнает и в то же время хорошо знает. Она ловит себя на мысли: теперь я знаю, как умирают. Она надевает перчатку и делает служанке знак. Художник что-то бубнит ей в спину, что-то про отца, про деньги, но она не слушает. Она спокойна. Она счастлива. Она чувствует себя онемевшей, опустошенной — улитка одно слово. Она спускается по. лестнице, пересе-

кает грязную, погруженную во мрак прихожую и выходит на свет, в будничный мир.

Не попадайтесь на удочку: всему этому также не следует придавать никакого значения.

Я осторожно положил шпагат и оберточную бумагу на пол и только шагнул вперед, как дверь у меня за спиной открылась и в комнату вошла крупная женщина в джемпере и в твидовой юбке. При виде меня — я стоял перед картиной с широко разведенными руками и одновременно смотрел на женщину диким взглядом, пытаясь одной ногой сдвинуть в угол шпагат и бумагу, — она резко остановилась. Пепельные, отливающие синевой волосы, на шее, на тесемке, — очки. Нахмурилась. «Ходить надо вместе с группой, — звонким, хорошо поставленным голосом отчитала она меня, — сколько раз повторять!» Я сделал шаг назад. Человек десять пестро одетых людей сгрудились за ней в дверях и, вытягивая шеи. во все глаза смотрели на меня. «Простите, — неестественно робким голосом проговорил я, — я заблудился». Она нетерпеливо тряхнула головой и, выйдя на середину комнаты, тут же, без остановки, начала вещать нараспев о столах работы Карлена и часах работы Берто, а спустя несколько недель, на допросе в полиции, где

ей показали мою фотографию, заявила, что видит меня впервые. Ее подопечные ввалились в комнату, шаркая ногами и исподтишка подталкивая друг друга, чтобы спрятаться от ее сурового взгляда. Они встали, как полагается, полукругом, сцепив, будто в церкви, руки на животе, и начали озираться по сторонам с выражением почтительной безучастности. Какой-то седой тип в гавайской рубахе улыбнулся и подмигнул мне. По правде сказать, я здорово струхнул, у меня вспотели ладони, засосало под ложечкой. Тот душевный подъем, что я испытал по пути сюда, разом испарился, остался лишь горький привкус дурного предчувствия. В первый раз я по-настоящему ужаснулся гнусности задуманного мной предприятия. Я ощущал себя ребенком, который, заигравшись, очутился вечером в лесу и остолбенел от ужаса: за каждым деревом ему чудятся призраки. Тем временем экскурсовод завершила свою лекцию о сокровищах «золотой» комнаты (портрет, мой портрет, удостоился двух предложений и ошибочной атрибуции) и, воздев над головой руку и не переставая говорить, увела свою паству за собой. Они ушли, а я, уставившись на дверную ручку, замер в томительном ожидании: в любой момент эта дамочка могла

вернуться и цепко схватить меня за загривок. Где-то во мне тихо, боязливо заскулил чей-то перепуганный голосок. Вообще, мне кажется, суд не вполне отдает себе отчет в том, что по натуре (об этом мне уже приходилось говорить, не так ли?) человек я боязливый и напугать меня ничего не стоит. Но она не вернулась — слышно было, как туристы топочут по лестнице, — и я вновь лихорадочно взялся за дело. Выглядел я в тот момент, наверное, эдаким злодеем из немого фильма ужасов: на лице злобная гримаса, движения судорожные, хищный взгляд из-под кустистых бровей. Хоть и не без труда, я снял портрет со стены, положил его на пол и, стараясь не встречаться глазами с ее испытующим взглядом, стал рвать оберточную бумагу. Никогда бы не подумал, что звук рвущейся бумаги может быть так оглушителен, надсаден, — казалось, в комнате заживо свежуют какого-то гигантского зверя. У меня ничего не получалось, пальцы дрожали, все валилось из рук, листы оберточной бумаги не желали расправляться и скатывались в рулон, нечем было резать шпагат — впрочем, рама была настолько толстой и массивной, а сам портрет — таким громоздким, что завернуть его, даже если б я не волновался, было делом отнюдь не

простым. Я ползал на коленях по комнате и что-то бормотал себе под нос, тревожно повизгивая. Все складывалось не так, как хотелось. «Брось, — говорил я себе, — пожалуйста, прошу тебя, брось, пока не поздно», однако мое второе «я», скрежеща зубами, твердило: «Нет, ты не отступишься, ну-ка, трус, вставай, берись за дело». И, повинуясь этому, второму, голосу, я с воем и мычанием вскочил на ноги, обхватил портрет обеими руками и, пошатываясь, тыкаясь в него носом, двинулся к балконной двери. Я чувствовал, что краснею от ее пристального, неотрывного взгляда. И туг… как бы это передать?., и тут я ощутил, что за этим взглядом скрывается еще чей-то, что за мной следит еще кто-то. Я остановился, опустил картину и увидел ее — служанка, как и накануне, неподвижно стояла в дверях, широко раскрыв глаза и подняв одну руку. Хорошо помню, как в голове у меня пронеслось: ну вот ты и попался. Я осатанел. Какое, черт возьми, право имеет мир ставить на моем пути столько препятствий?! Ведь это же несправедливо, несправедливо! «На. — вырвалось у меня, — держи!» — и, вложив ей в руки портрет и развернув ее к себе спиной, я погнал ее перед собой по лужайке. Она ничего не сказала — а впрочем, я бы все равно не услышал.

Шла она с трудом: под ногами была трава, в руках — тяжелая картина, куда идти — не видно. Когда она спотыкалась, я подхватывал ее сзади под мышки. Я и впрямь был очень сердит. Мы подошли к машине. Из бездонного багажника воняло рыбой. Внутри лежал традиционный набор предметов таинственного предназначения: домкрат, ключи и прочее (я ведь уже говорил, что с техникой не в ладах), а также грязный старый свитер, который я тогда не сразу заметил: невидимый постановщик всего, этого спектакля словно бы невзначай бросил его в угол багажника. Выкинув инструменты на траву, я взял портрет из рук служанки и положил его лицом вниз на затянутое вытертым бобриком дно багажника. Только теперь, я впервые увидел его сзади и понял, как картина стара. Триста лет назад холст растянули на побеленной стене и оставили сушить. Я на секунду закрыл глаза: узкая улочка в Амстердаме или Антверпене, солнце пробивается в закопченное окно мастерской, уличные торговцы, перезвон колоколов. Служанка не сводила с меня глаз. У нее были какого-то диковинного цвета глаза: тусклые, фиолетовые и такие прозрачные, что если долго смотреть в них, то казалось, будто видишь ее насквозь. И почему она не убежала?

У нее за спиной, у одного из высоких окон второго этажа, сгрудились люди: они таращились на нас, показывали пальцами. Я разглядел очки экскурсовода, пальмы на рубашке американца. Должно быть, я взревел от ярости (как старый лев от взмаха хлыста), ибо служанка вздрогнула всем телом и отшатнулась. Я схватил ее за запястье своей железной клешней и, широко распахнув дверцу машины, без малейшего труда втолкнул на заднее сиденье. Господи, почему она не убежала?! Когда я, бормоча что-то бессвязное и злобно скалясь, сел за руль, то почувствовал какой-то странный, едва слышный металлический запах — так пахнут старые, потертые монеты. Я глянул в зеркало: она сидела прямо за мной, подавшись вперед всем телом и скрючившись, точно ее запихнули в узкую стеклянную банку. Зажата между дверцей и передним сиденьем, локти широко расставлены, пальцы растопырены — чем не застигнутая врасплох героиня душещипательной мелодрамы? И тут я испытал прилив дикого, удушливого нетерпения. Да, именно нетерпения, и еще мучительного замешательства. Меня унизили. Изобличили, вывели на чистую воду. Я был выставлен на всеобщее обозрение: она наблюдала за мной с заднего сиденья, туристы

— столпившись у окна, и еще, мнилось мне, десятки, сотни призрачных зевак, явившихся, надо полагать, прообразом той толпы, что скоро, очень скоро с любопытством и ужасом обступит меня. Я включил зажигание и рванул машину с места. От волнения я так спешил, что утратил автоматизм простейших движений. Съехав с травы на брусчатку, я, видимо, слишком быстро отпустил педаль сцепления, и машина забилась в судорогах: капот ходил ходуном, точно зарывающийся в волны нос корабля. Тоскливо чмокали амортизаторы. Стоявшие у окна, надо думать, корчились от смеха. По щеке у меня покатилась капелька пота. Солнце било прямо в глаза, руль нагрелся так, что за него невозможно было взяться. Служанка потянулась к дверной ручке и стала ее теребить, но я огрызнулся, и она тут же отдернула руку и посмотрела на меня расширившимися глазами, как ребенок, которому крепко влетело. У ворот по-прежнему грелся на солнце шофер автобуса. Увидев его, она попыталась было опустить окно, но безрезультатно — вероятно, сломался стеклоподъемник. Тогда она стала колотить по стеклу кулаками. Я резко повернул руль, и машина, чиркнув шинами, неуклюже, с грохотом выехала на шоссе. Теперь мы громко, во весь голос крича-

ли друг на друга, точно выясняющие отношения муж с женой. Она сильно ударила меня в плечо и, вытянув руку, попыталась вцепиться в глаза. При этом большим пальцем она угодила мне в нос, и я испугался, как бы она не разорвала мне ноздрю. Машину бросало из стороны в сторону. Я нажал обеими ногами на педаль тормоза, и мы, плавно съехав в кювет, воткнулись в живую изгородь. Ее отбросило назад. Я повернулся. В руке у меня был молоток. Я оцепенело смотрел на него. Тишина стояла такая, будто оба мы с головой ушли под воду. «Не вздумай», — сказала она. Сидит скрючившись, как и раньше: забилась в угол, руки согнуты в локтях. Говорить я не мог, меня охватила судорога. Никогда прежде не ощущал я так явственно, с такой грубой силой присутствия другого человека. Теперь, впервые, я имел возможность хорошенько ее рассмотреть: мышиного цвета волосы, плохая кожа, синева под глазами. Внешность у нее была самая заурядная, и в то же время… и в то же время… как бы это сказать., от нее словно исходило сияние. Она закашлялась, выпрямилась и резким движением отбросила назад прядь волос, застрявшую в углу рта.

«Отпусти меня, — сказала она, иначе тебе не

поздоровится».

Орудовать молотком в машине — задача не из легких. Замахнувшись в первый раз, я ожидал услышать гулкий стук, какой бывает от соприкосновения металла и кости, — раздался же глухой шлепок, как от удара по глине или по затвердевшей замазке. «Родничок», — пронеслось у меня в голове. Я-то думал, что одного хорошего удара будет достаточно, но как показало вскрытие, череп у нее был на редкость крепкий: как видите, ей и тут не повезло. Первый удар пришелся в лоб, прямо над левым глазом. Крови было немного, только блестящая темно-красная вмятина с попавшими туда волосами. Она передернулась, но сидеть продолжала прямо, слегка покачиваясь и глядя на меня несфокусированным взглядом. Если б вдруг, перегнувшись через сиденье, она не набросилась на меня с воем и кулаками, я бы, очень возможно, на том и остановился. Но тут я вдруг обиделся. Почему мне так не везет? Это же несправедливо] Слезы жалости к самому себе навернулись мне на глаза. Я резко отшвырнул ее от себя и, размахнувшись, занес молоток над головой. Удар получился такой силы, что она отлетела к дверце и стукнулась головой об окно; из носа брызнула и побежала по щеке тоненькая

струйка крови. Попала кровь и на окно: мелкие, как бусинки, брызги — веером. Она закрыла глаза, отвернулась и, издав горлом низкий, гортанный звук, положила руку на голову, отчего следующий удар — в висок — пришелся на ее пальцы; услышав, как хрустнул один из них, я содрогнулся и чуть было не извинился. «Ох!» — — выдохнула она и совершенно неожиданно, как будто внутри у нее все лопнуло, съехала с сиденья на пол.

Опять наступила тишина — звонкая, пугающая. Я вышел из машины и некоторое время стоял, тяжело дыша. Кружилась голова. Что-то стряслось с солнечным светом — со всех сторон меня окружал подводный мрак. Мне казалось, что от Уайтуотера я отъехал совсем недалеко, и я ожидал увидеть ворота, экскурсионный автобус и шофера, который со всех ног бежит ко мне, — однако стоял я почему-то на совершенно пустом незнакомом шоссе. С одной стороны круто подымалась гора, с другой, за вершинами сосен, виднелись дюны. Наваждение какое-то! Все вокруг, особенно же расплывчатая мерцающая даль и беззаботно убегающая дорога, напоминало наспех нама-леванный театральный задник. Тут только я обнаружил, что по-прежнему сжимаю молоток, размахнулся, швырнул его что было

силы и, точно завороженный, долго смотрел, как он летит, длинной вибрирующей дугой вращаясь в воздухе, — все дальше и дальше, над голубыми вершинами сосен. А потом меня вырвало — остатками жирного завтрака, который я съел тысячу лет назад, в другой жизни.

Я залез обратно в машину, стараясь не смотреть на то, что в неловкой позе раскинулось на заднем сиденье. Солнечные лучи, бившие в глаза, двоились и троились, и я подумал: уж не треснуло ли лобовое стекло, но потом, приложив руку к лицу, сообразил, что плачу. Это меня подбодрило. И не оттого, что слезы были предвестьем угрызений совести; нет, это был знак какого-то простого, естественного порыва; чувства, которому не было названия, но которое могло оказаться тем последним — и единственным — звеном, что еще связывало меня с обыденностью. Ведь теперь все изменилось, я находился там, где прежде не бывал никогда. Я дрожал, и все вокруг меня дрожало тоже; окружающие предметы были на ощупь какие-то липкие, вялые, как будто я и все вокруг — — машина, дорога, деревья, далекие луга, — как будто все мы, потрясенные, безгласные, соткались из воздуха мгновение назад. Я осторожно, внутренне замирая, повернул ключ

в замке зажигания; в эту секунду у меня не было никаких сомнений, что сейчас произойдет нечто совершенно невероятное: раздастся страшный грохот, или небо озарится ослепительной вспышкой, или из-за приборной доски мне на ноги брызнет грязная жижа. Я поехал по середине дороги на второй скорости. Запахи, запахи. У крови был теплый, густой запах. Я хотел опустить окно, но не посмел — испугался: свет снаружи казался влажным и плотным, как желток; мне чудилось, что он забивается в рот, в ноздри.

Я ехал и ехал. От Уайтуотера до города не больше тридцати миль, однако ощущение было такое, что прошло несколько часов, прежде чем показались пригороды. О своем путешествии я почти ничего не помню, то есть не помню, как переключал скорости, как нажимал на газ, как тормозил. Да, я передвигался, но словно бы в хрустальном шаре, бесшумно летя по неведомому, залитому солнцем ослепительному пространству. Ехал я, видимо, очень быстро, ибо запомнилось, как гудел воздух в ушах: тупой, порывистый гул. Скорее всего, двигался я кругами, по одним и тем же узким сельским дорогам. Но вот появились дома, жилые кварталы, беспорядочно разбросанные заводы и супермаркеты величиной с

авиационные ангары. Я пялился в лобовое стекло с каким-то сонным оцепенением. Должно быть, у меня был вид человека, который приехал очень издалека и никак не может взять в толк, почему все вокруг и похоже, и не похоже на его дом. Я не знал куда еду; собственно, я никуда и не ехал — я вел машину. Плыть вот так, поворачивая руль одним пальцем, ел решившись от всего, было почему-то очень покойно. Казалось, будто я всю жизнь карабкался на крутую гору, а теперь вот добрался до вершины и блаженно взмыл в небеса. Я чувствовал себя немыслимо свободным. У первого светофора машина остановилась так плавно, точно парила в воздухе. Я находила на перекрестке двух пригородных улиц. Слева, на небольшом, поросшем травой пригорке рос каштан, а дальше тянулся ряд аккуратненьких новых домов. На траве играли дети. Резвились собаки. Светило солнце. Должен сказать, что я всегда питал тайную слабость к таким вот тихим местам, неброским, но остающимся в памяти, где строят, мастерят, копаются в саду. Я откинул назад голову и улыбнулся, наблюдая за игрой детворы. Зажегся зеленый свет, но я не сдвинулся с места. Меня здесь не было, я где-то запропастился, затерялся в каком-то залитом солнцем уголке:

прошлого. Внезапно, прямо у себя под ухом, я услышал, как кто-то нетерпеливо скребется в стекло. Я подпрыгнул от неожиданности. Какая-то женщина с большим, широким, лошадиным лицом (она напомнила мне мою мать, прости, Господи!) смотрела на меня остановившимся взглядом и что-то говорила. Я приспустил стекло. Голос у нее был громкий — так, во всяком случае, мне показалось. Я не мог понять, чего она от меня хочет, речь шла о какой-то аварии, она спрашивала, не пострадал ли я. Тут она подалась вперед и, заглянув мне через плечо, приоткрыла рот и застонала. «Боже, бедное дитя!» — вырвалось у нее. Я повернул голову. Теперь все заднее сиденье было в крови — и откуда ее столько у одного человека! На какую-то безумную долю секунды вспыхнула и погасла искра надежды: а что, если действительно была авария, которую я каким-то образом не заметил или забыл? А что, если какой-нибудь гигантский грузовик врезался в нас и залил сиденье кровью, завалил трупами? Говорить я не мог. Я-то думал, что она мертва, — она же стояла на коленях между сиденьями и водила рукой по стеклу: я отчетливо слышал, как оно скрипит под ее пальцами. Волосы свисали окровавленными прядями, лицо превратилось

в восковую маску с медно-красными и малиновыми прожилками. А стоявшая у машины женщина что-то бубнила мне в ухо про телефон, «скорую помощь», полицию-полицию! Я повернулся к ней и злобно оскалился. «Мадам, — веско сказал я (голос мой она впоследствии назовет „культурным“ и „властным“), — будьте добры, не вмешивайтесь не в свое дело». Она отшатнулась и в ужасе посмотрела на меня. По правде говоря, я и сам ужаснулся: я никогда не подозревал, что могу говорить таким властным тоном. Я поднял окно, отжал сцепление, рванул машину с места и только тогда — увы, слишком поздно! — заметил, что проехал на красный. Фургон, пересекавший перекресток слева, резко остановился и возмущенно взвизгнул тормозами. Я двинулся дальше, но не проехал и двух кварталов, как увидел, что за мной, с воющей сиреной и бешено вращающимся сигнальным огнем, несется «скорая помощь». Я терялся в догадках. Каким образом могла она так быстро приехать? Впоследствии выяснилось, что это было очередное поразительное совпадение, в этой истории далеко не единственное. «Скорая» искала вовсе не меня, а возвращалась — правильно, с аварии и везла — да, увы! — умирающую женщину. «Скорая» гнала меня перед собой, как

зайца; я опустил голову так низко, что едва не касался носом обода руля. В эту минуту меня охватил такой панический ужас, что я вряд ли смог бы остановиться, даже если б захотел. «Скорая» пристроилась мне в спину и, угрожающе мечась из стороны в сторону, оглашенно выла с остервенением взбешенного зверя. Сидевший рядом с шофером санитар, упитанный парень в рубашке с короткими рукавами, с красным лицом и с узкими бачками, глянул на забрызганное кровью окно моей машины с чисто профессиональным интересом. О чем-то посоветовавшись с шофером, он стал делать мне сложные знаки (кивал головой, шевелил губами), чтобы я следовал за ними. Они, вероятно, решили, что и я еду с той же самой аварии — везу в больницу еще одну пострадавшую. «Скорая» обогнала меня и помчалась впереди. Я ехал следом — скорее по инерции. Перед собой я ничего не видел, кроме этого громоздкого прямоугольного фургона, подымавшего за собой столб пыли и солидно покачивавшегося на рессорах. Но тут «скорая» неожиданно затормозила и нырнула в широкие ворота; из бокового окна появилась рука и сделала мне знак ехать за ними. Вид этой толстой руки и вывел меня из оцепенения. Разразившись идиотским смехом

и вдавив педаль в пол, я понесся дальше, мимо больничных ворот, и вскоре вой сирены, теперь испуганный, жалобный, растаял где-то далеко позади. Я вновь был свободен.

Я глянул в зеркало. Она криво сидела на сиденье, свесив голову и сложив руки на коленях ладонями вверх.

Внезапно слева от меня, далеко внизу, возникло море — голубое, неподвижное. Я спустился с крутой горы и поехал по «бетонке», идущей вдоль железнодорожного полотна. Справа от меня, огромный и пустой, вырос розово-белый отель с развевающимися вымпелами на витых, под старинный замок, башенками. Вскоре дорога уперлась в заросшую кустарником и чертополохом болотистую поляну, и я остановился вился посреди необъятной, непроницаемой тишины. Сзади до меня доносилось в памяти, прерывистое дыхание. Когда я повернулся, она подняла свою страшную сивиллову очнулся, голову и посмотрела на меня. «Помоги мне, — прошептала она. — Помоги мне. — Во Меня рту у нее надулся и лопнул кровавый пузырь. — Томми, — сказала она (или мне уголке послышалось?) и потом: — Любимый». Что я почувствовал? Угрызения совести, терпеливо горе ужасную… нет, нет, не буду

лгать. Не помню, чтобы я что-то вообще пышным, чувствовал, разве что испытывал какое-то странное ощущение, будто нахожусь господи!) в местах, которые знаю, но не узнаю. Когда я вышел из машины, у меня закружилась голова, и я был вынужден облокотиться на дверцу и прикрыть глаза. Пиджак был весь выпачкан кровью, я скинул его и швырнул в чахлые кусты — его, кстати, так и не нашли — непонятно почему. Тут я вспомнил про свитер в багажнике и надел его. Пахнул он рыбой, потом и машинным маслом. Я вытащил моток висельной веревки и ее тоже выбросил. Потом вынул из багажника портрет, подошел с ним к покосившемуся забору с колючей проволокой и бросил в канаву с водой. Что я хотел этим сказать? Не знаю. Может, это был акт самоотречения? Самоотречения! Как смею я употреблять такие слова? Дама с перчатками бросила на меня последний отрешенный взгляд. Она-то мне цену знала. Я вернулся к машине, стараясь не смотреть на заляпанные кровью окна. Что-то сверху падало на меня — нежные, бесшумные капли дождя. Я посмотрел вверх, на ослепительный солнечный шар, и увидел облако прямо у себя над головой — не облако даже, а серое пятнышко на ярко-синем летнем небосклоне.

«Нет, я не человек», — подумал я. Повернулся и зашагал прочь.

Часть II

Сколько себя помню, мне снится один и тот же сон (да, да, опять сон!), повторяется он раза два в год. и после него у меня на несколько дней остается неприятный осадок. Как и все остальные мои сны, этот тоже никак нельзя назвать сном в обычном понимании слова, ибо в нем все расплывчато, ничего, по существу, не происходит. Весь он сводится в основном к какому-то неясному, но глубокому и постоянно растущему ощущению тревоги, которая постепенно переходит в настоящую панику. Кажется, будто когда-то, очень давно, я совершил преступление. Нет, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Я чем-то провинился, а чем — так до конца и остается неясным. Может быть, я что-то нашел (не исключено, что это мог быть труп), припрятал находку и начисто о ней забыл. И вот теперь, спустя годы, преступление раскрыто, и меня вызывают на допрос, хотя прямых улик против меня нет, подозрение на меня не падает. Я лишь проходящий по делу свидетель — один из многих. Говорят со мной мягко, спокойно, подчеркнуто

уважительно, какими-то даже скучными голосами. Тот, что помоложе, суетится. На вопросы я отвечаю вежливо, с легкой иронией, улыбаюсь, вопросительно подымаю бровь. «Сегодня, — самодовольно говорю я себе, — твой звездный час, никто бы не смог так искусно отговориться, как ты». Однако со временем (я это замечаю) у того, кто постарше, я начинаю вызывать повышенный интерес, он не сводит с меня своих умных, прищуренных глаз. Должно быть, я сказал что-то лишнее. Но что? Я чувствую, как краснею. Меня охватывает невероятное волнение, я начинаю что-то лепетать, пытаюсь беззаботно хмыкнуть, но чувствую, что лишь судорожно хватаю ртом воздух. Наконец у меня, точно у заводной игрушки, кончается завод, и я смолкаю. Сижу и молча, тяжело дыша, пялюсь на них. Теперь на меня с любопытством смотрит и тот, кто помоложе, — сержант. Воцаряется жуткая тишина, она тянется' бесконечно, пока наконец мое сонное «я» не вскакивает и не пускается в бегство, и я пробуждаюсь в холодном поту. Особенно ужасно во всем этом не то, что меня будут судить и посадят в тюрьму за преступление, которое, возможно даже, я не совершал, а то, что меня попросту выследили. Вот отчего я просыпаюсь в испарине, вот почему

во рту у меня гадко, на сердце тяжело.

И теперь, когда я торопливо шел по «бетонке» вдоль железнодорожного полотна, а за спиной у меня шумело море, — я испытывал ту же тяжесть на сердце, то же чувство стыда и унижения. Какой же я был болван! Сколько мне теперь предстоит тяжелых дней, недель, лет! И в то же время я испытывал ощущение какой-то легкости, бодрости, как будто с плеч моих свалился тяжкий груз. Ведь с тех самых пор, как я обрел разум (так это называется?), я делал одно, а думал со все другое, ибо бремя вещей казалось не в пример более тяжким, чем бремя мыслей. Тоже что я говорил, никогда не было точным выражением того, что я чувствовал, а то что чувствовал, никогда не соответствовало тому, что следовало чувствовать, хотя чувства мои всегда были искренними, естественными… Зато теперь я нанес удар тому, кто сидел внутри меня, этому толстому балагуру и сквернослову, который не уставал твердить, что живу я ложью. И он, этот великан, этот людоед, наконец-то вырвался наружу; это он мерил сейчас гигантскими шагами залитую лимонным светом дорогу, это у него вся шкура была в крови, я же беспомощно висел у него на закорках. Все разом исчезло, кончилось, осталось позади; вся

моя прошлая жизнь, Кулгрейндж, Дафна утратили всякий смысл, лишились значения. Для того чтобы обрести свободу, надо сделать что-то очень плохое, самое худшее. Впредь мне уже никогда больше не изобразить из себя того, кем я не являюсь. От мысли этой голова у меня шла кругом, сосало под ложечкой.

Мне не давали покоя всякие мелочи. Свитер, к примеру, дурно пахнул и был мне мал. Левая штанина лопнула на коленке. Сразу бросалось в глаза, что сегодня я еще не брился. Однако самым большим моим желанием, заветной, можно сказать, мечтой было не побриться и переодеться, а вымыться, погрузить руки по самые локти в крутой кипяток и мыть их, тереть, полоскать, скрести — до бесконечности. Напротив опустевшего отеля находилось несколько обшарпанных серых зданий, которые когда-то были железнодорожной станцией. На платформе росла трава, все окна в сигнальной будке были выбиты. Любовно нарисованная рука на рябой от ржавчины жестяной табличке указывала на крытый цементом блочный домик, расположенный на почтительном расстоянии от платформы. У входа в мужскую уборную росла целая россыпь алых златоцветов. Но я вошел в женскую — соблюдать

здесь приличия необходимости больше не было. Повеяло прохладой и сыростью. Внутри стоял запах извести, на стенах росло что-то зеленое и блестящее. Арматура была вырвана с корнем, отсутствовали даже дверцы у кабинок. Правда, по состоянию пола можно было заключить, что заведение не пустует. В углу аккуратной кучкой свалены были самые разнообразные вещи: использованные презервативы, выцветшие тампоны, даже предметы туалета. Стараясь не смотреть в эту сторону, я повернулся и увидел единственный уцелевший кран на зеленой медной трубе, торчавшей из стены, где когда-то находились умывальники. Когда я повернул кран, сначала послышался далекий стон и лязг, а затем, словно нехотя, брызнула струйка ржавой воды. Я тщательно — насколько это было возможно — вымыл руки и вытер их об подол рубашки, однако, уже собираясь уходить, обнаружил кровь между пальцами. Не знаю, откуда она взялась. Возможно, она была и на свитере, даже в волосах. По прошествии времени кровь сгустилась, стала темной и липкой. Почему-то ни пятна крови на сиденье, ни забрызганные кровью стекла, ни ее крик, ни запах смерти не подействовали на меня так сильно, как это темное, похожее на смолу

пятнышко. Взвыв с досады, я снова сунул кулаки под кран и стал с остервенением тереть их — бесполезно. Кровь, правда, исчезла, но что-то осталось, и весь день, весь тот долгий день я ощущал у себя между пальцев это пятно — влажное, теплое, таинственное.

Я боюсь подумать о том, что я сделал.

Некоторое время я просидел на платформе, на сломанной скамейке. Какое яркое солнце, синее море, как весело полощутся и хлопают на ветру флаги на башнях отеля! Все было тихо, только морской ветерок гудел в телеграфных проводах и что-то где-то поскрипывало и постукивало. Я улыбнулся. Впал, можно сказать, в детство: сижу и грежу наяву, словно в сказке очутился. Пахло морем, водорослями, песком. Приближался поезд: да, рельсы гудят и подрагивают в предвкушении. Кругом ни души, нигде ни одного человека, только на пляже, на полотенцах растянулось несколько загорающих. Интересно, почему здесь так безлюдно? А может, это мне только так кажется, может, кругом толпы отдыхающих, а я их не замечаю из-за моей склонности оставаться в тени, на заднем плане? Я закрыл глаза: всплыло и тут же вновь бесшумно погрузилось на дно какое-то воспоминание, какой-то образ. Прежде

чем образ этот окончательно исчез, я попытался поймать его, запечатлеть, но уловил лишь одно мимолетное ощущение: дверь, ведущая в темную комнату, и таинственное чувство ожидания чего-то или кого-то. В это время прошел поезд; от его тяжелого, перекатывающегося грохота у меня все сотряслось внутри. Пассажиры в широких окнах походили на манекены; медленно проплывая мимо, они провожали меня пустыми взглядами. Тут мне пришло в голову, что надо было отвернуться: теперь ведь любой человек мог стал потенциальным свидетелем. Но потом я подумал, что это значения не имеет: не пройдет и нескольких часов, как я все равно буду в тюрьме. Я озирался по сторонам и глубоко дышал, жадно впитывая тог мир. что я скоро потеряю. Возле отеля показалась стайка мальчишек, человека три-четыре: они пробежали по неухоженной лужайке и стали кидаться камнями в табличку с объявлением о продаже дома. Я встал, тяжело вздохнул, сошел с платформы и вновь зашагал по дороге.

В город я добрался на автобусе, на этот раз одноэтажном, который ходил очень редко и издалека. Пассажиры, как видно, хорошо знали друг друга. На каждой остановке вновь вошедших

встречали смехом и дружескими подначками. Самозваным конферансье этого концерта на колесах был старик в кепке и с костылем. Сидел он впереди прямо за шофером и, выставив свой протез в проход, приветствовал каждого входящего возгласом наигранного удивления и постукиванием костыля. «Ого! Смотрите, кто к нам пожаловал!» — говорил он, оборачиваясь к нам с испуганным видом, словно предупреждая о появлении какого-то чудовища, тогда как в автобус входил всего-навсего угловатый юнец с лицом хорька и с потрепанной «сезонкой», торчавшей из его пальцев наподобие бесцветного языка. С девушками инвалид кокетничал, отчего они краснели и прыскали, а домашних хозяек, ехавших в город за покупками, встречал подмигиваньем и игривыми шуточками насчет своего протеза. Время от времени он бросал на меня мимолетный, испытующий, немного тревожный взгляд так смотрит со сцены актер, углядевший в первом ряду кредитора. Вообще во всем его поведении было что-то неуловимо театральное. Что же касается остальных пассажиров, то держались они с напускной беззаботностью зрителей на премьере. Да, каждому из них тоже приходилось в некотором роде исполнять свою роль. За бол-

товней, шутками и фамильярностью скрывалось волнение, в их глазах читались неуверенность и усталость, как будто текст свой они выучили, а вот реплику пропустить боялись. Я наблюдал за ними с неподдельным интересом, чувствуя, что открыл для себя нечто очень важное, хотя, что именно, в чем важность моего открытия, я. пожалуй, сказать бы не мог. Интересно, а какая роль в этом спектакле отводилась мне? Не иначе роль рабочего сцены, что стоит в кулисе и завидует господам актерам.

Когда мы добрались до города, я никак не мог решить, где мне сойти, разницы не было никакой. Здесь следует сказать несколько слов о том, в каком положении я оказался. По идее, я должен был бы умирать со страху. В кармане у меня оставались пятифунтовая банкнота и несколько монет — да и то в основном иностранных; я выглядел и пахнул, как бродяга, и идти мне было решительно некуда. У меня не было даже кредитной карточки, с помощью которой я мог бы всеми правдами и неправдами снять номер в гостинице. Но, несмотря на все это, я не мог заставить себя волноваться, испытывать беспокойство. Я пребывал словно в дурмане, в каком-то сонном оцепенении, как будто находился под местным

наркозом А может, таким шоковое состояние и бывает? Нет, в таком состоянии, мне кажется, я находился оттого, что был уверен: в любой момент на плечо мне может опуститься тяжелая рука и громоподобный голос прикажет остановиться. Ведь к этому часу они должны были выяснить мое имя, развесить по городу описание моей внешности, а по улицам уже ходили, надо думать, мужчины с непроницаемыми взглядами и с оттопыривающимися карманами пиджаков. Почему всего этого не было, до сих пор остается для меня загадкой. Беренсы наверняка сразу же сообразили, кого могла привлечь именно эта картина, однако в полицию почему-то заявлять не стали. А улики, целый ворох улик, которые я за собой оставил? Ведь столько людей видели меня в тот день: и Роки, мать и сын, и матрона в гараже, и владелец скобяной лавки, и похожая на мою мать женщина, которая заглянула в машину, когда я, ничего не соображая, стоял перед светофором. Почему все они промолчали? Нет, ваша честь, я вовсе не хочу поощрять потенциальных правонарушителей, однако должен сказать: преступления в наши дни сходят с рук гораздо чаще, чем принято думать: Пройдут «драгоценные дни» (как легко сбиться на штамп!), прежде чем

полиция только начнет догадываться, за кем следует установить слежку. Если б с самого начала я не вел себя столь опрометчиво, если б я хоть на минуту остановился и задумался, — сейчас, надо полагать, я был бы не здесь, а где-нибудь в краях более теплых. И вину бы свою я заговаривал не за решеткой, а под высоким южным небом. Но я не остановился и не задумался. Я сошел с автобуса и направился куда глаза глядят, ибо был убежден, что от судьбы не уйдешь, — и от закона, соответственно, тоже. Задержание! В душе я лелеял это суконное слово. Оно утешало, сулило покой. Я шел, натыкаясь на прохожих, точно пьяный; шел и удивлялся, почему они в ужасе не расступаются передо мной. Кругом все торопилось, все шумело. Несколько раздетых по пояс работяг вгрызались в асфальт пневматическими молотками. Машины злобно рычали и выли, солнце метало молнии, отражаясь в лобовых стеклах, зловеще скользя по крышам автомобилей. Вместо воздуха я вдыхал расплавленное синее марево. Я отвык от больших городов и вместе с тем отдавал себе отчет, что, даже застревая в толпе, я неуклонно продвигаюсь во времени, плыву вперед безо всяких усилий. «Время, — мрачно думал я про себя, — время — вот, что спасет меня». Тринити

’. банк. А вот табачная лавка Фокса, куда мой отец торжественно отправлялся под Рождество за сигарами. Это мой мир — и я изгой в нем. Я чувствовал сильную и в то же время какую-то безличную жалость к самому себе — так жалеют несчастного, заблудшего бродягу. Солнце кровожадным выпученным глазом сверлило улицы. Я купил плитку шоколада и сожрал ее на ходу. Купил я и первый выпуск вечерней газеты, но там ничего не было. Я швырнул ее на мостовую и поплелся дальше. «Эй, мистер!» — какой-то мальчишка подобрал газету и бросился за мной. Я поблагодарил его, он улыбнулся, а я чуть не расплакался. Стою эдаким увальнем посреди улицы и осовело таращусь по сторонам. Меня обходили, толкали со всех сторон, мелькали лица, локти. В этот момент, как никогда раньше, я ощущал полную свою беспомощность, нутряной страх. Я решил сдаться. И почему только мне это раньше не приходило в голову? Мысль эта представлялась мне сейчас необычайно соблазнительной. Я живо вообразил себе, как меня осторожно берут за руки и ведут через прохладные белые комнаты — туда, где ждут меня тишина и покой, упоительная расслабленность. Но сдаваться я не пошел. Я пошел в паб Уэлли.

Паб был закрыт. Я ничего не понимал. В первый момент у меня возникла дикая мысль, что закрыли его не случайно — выяснили, видимо, что накануне я был там. Я несколько раз подергал дверь, заглянул за матовое стекло, но внутри было темно. Я отошел. По соседству с баром располагался магазинчик модного платья. В дверях — неподвижно, с отсутствующим, точно у кукол, видом — стояли две бледные, тонкие, как лианы, девицы. Когда я заговорил с ними, они, безо всякого интереса, как по команде, подняли на меня свои подведенные глаза. «Мертвый час», — сказала одна из них, а другая захихикала. Я глупо улыбнулся, вернулся к пабу и с удвоенной энергией принялся колотить в дверь. Спустя некоторое время внутри послышались шаркающие шаги и звон ключей. «Что надо?» — гаркнул Уэлли, жмурясь на солнце. Он был в ярко-красном шелковом халате и в стоптанных шлепанцах. Брезгливым взглядом он окинул мой грязный свитер и двухдневную щетину.

Я объяснил, что у меня сломалась машина и мне надо позвонить. «Позвонить?» — Уэлли издевательски, хмыкнул, как будто ничего смешнее он давно не слышал. А впрочем, все равно пора было открываться. Я последовал за ним. Икры у

него были полные, белые, без единого волоска — совсем недавно я где-то видел такие же. Уэлли зашел за стойку и включил лампу с розовым абажуром. «Вот телефон», — сказал он, махнув рукой и язвительно поджав губы. Я спросил, могу ли я сначала выпить джину. Он удовлетворенно фыркнул и позволил себе едва заметно улыбнуться.

«Тачку, значит, стукнул?» — поинтересовался он. В первый момент я даже не понял, о чем идет речь. «Стукнул? Нет, нет, она просто встала», — поспешил сказать я, а сам с угрюмым удовольствием подумал: «Надо же, в первый раз не соврал!» Похожий в своем алом одеянии на священника, Уэлли отвернулся налить мне Джину, поставил стакан передо мной на стойку, а сам присел на краешек высокого табурета, сложив на груди толстые руки. Он понимал, что у меня что-то случи лось — это было видно по выражению его глаз, жадному и в то же время пренебрежительному, но спросить меня напрямик не решался. Я ему улыбнулся, отхлебнул джину и, решив, что задавать вопросы лучше,, чем отвечать на них, сказал: «Хорошая штука сиеста, правда?» Он вопросительно приподнял одну бровь.

Я ткнул пальцем в его халат и повторил: «Вздремнуть, говорю, в середине дня не мешает, а?» Но Уэлли, по всей видимости, ничего забавного в этом не находил, тем более что у меня за спиной совершенно неожиданно возник из темноты какой-то взъерошенный юнец, вся одежда которого состояла из приспущенных трусов. Он бросил на меня усталый взгляд и спросил Уэлли, нет ли еще газеты. «Вот, — сказал я, — возьми мою. Бери». Должно быть, по дороге я, сам того не замечая, скрути в трубочку, и сейчас газета напоминала толстый корабельный канат. Юнец развернул ее и, шевеля губами, стал читать заголовки, приговаривая: «Террористы поганые! Ублюдки! Психи!» Уэлли бросил на него испепеляющий взгляд, после чего юнец швырнул газету на стойку и, почесав спину, лениво удалился. Я поставил перед Уэлли пустой стакан. «Мы пока еще бесплатно не наливаем, — буркнул он. — неимением лучшего, готовы деньги принять». Я протянул ему заветную пятерку Тут сквозь щель в ставне в комнату проник и косо встал со мной рядом длинные солнечный луч. Пока Уэлли вновь наполнял мой стакан, я не сводил глаз с жирной спины. А может, рассказать ему, что я учинил? В самом деле, почему и нет? Ведь

такого, как Уэлли, пытался уговаривать я сам себя, ничем не пройма Я уже представил себе, как он, оттопырив нижнюю губу и приподняв бровь, без тени улыбки выслушивает мою жуткую историю. Мысль о том, чтобы во всем признался, несколько меня раззадорила: было в этой мысли что-то замечательно безответное. В результате все происшедшее становилось чем-то вроде анекдота, шутк которая, впрочем, слишком далеко зашла. Я мрачно хмыкнул. «Выглядишь ты, кусок дерьма», — благодушно сказал Уэлли. Я заказал еще одну порцию джина, этот раз двойную.

Прямо мне в ухо ее голос отчетливо произнес: «Не надо».

Вернулся взъерошенный юнец, на этот раз он был в джинсах в обтяжку и в приталенной рубашке изумрудного цвета. Звали его Сынок. Уэлли поставил его за стойку, а сам, наступая на развевающиеся полы халата, отправился свою половину. Сынок щедрой рукой налил себе creme de menthe[6], побросал в бокал кубики льда, забрался на высокий табурет, поерзал на нем свои узкими маленькими ягодицами и внимательно посмотрел на меня без особого впрочем, вооду-

[6] notes: 6
Мятный ликер (франц.)

шевления. «Ты здесь на новенького», — сказал он, словно в чем-меня обвиняя. «Из нас двоих на новенького здесь ты». — отпарировал я и хмыкнул довольный собой. Сынок глядел на меня широко раскрытыми глазами. «Что ж, извини, — сказал он, — извини, не знал». Вернулся Уэлли — он оделся, причесал и распространял теперь сильнейший запах помады. Я заказал еще один двойной джин. Я чувствовал, как натягивается на скулах кожа; ощущение было такое будто на лице у меня грязевая маска. Я достиг той стадии опьянения, когда реальность воспринимаешь совсем в другом свете. Пьянство представлялось мне теперь своего рода осведомленностью, почти что здравомыслием. В паб, приплясывая и что-то оживленно обсуждая, ввалилась компания актеров. Они посмотрели смотрели на мой свитер, потом переглянулись и покатились со смеху. «Человек сложной судьбы», — изрек один из них, и Сынок захихикал. А я подумал «Надо бы с кем-нибудь из них договориться, пусть отведут меня к себе и спрячу Хотя бы вон с той, с леди Макбет, у которой грим не смыт и ярко-красный маникюр. Или вон с тем улыбчивым парнем в рубашке арлекина — почему бы и нет? Так и поступлю: жить буду среди актеров, играть вместе

с ним постигать их ремесло. Овладею высоким искусством мимики и жеста. Как знать может, со временем научусь и свою собственную роль исполнять хорошо, убедительно — тогда уж не ударю лицом в грязь перед этими придурками в автобусе...»

Только когда в дверях появился Чарли Френч, я понял, кого я все это врем ждал. Старина Чарли! Сердце мое переполнилось любовью к нему, мне хотелось его обнять. Он, как всегда, был в полосатых брюках и с потрепанным толстым солидным портфелем. Хота виделись мы с Чарли всего три дня назад, поначалу о: притворился, что не узнает меня. А может, ц действительно не узнал — вид-то у меня был не ахти. «А я думал, ты в Кулгрейндж поехал», — сказал он. Я ответил что был там, и он спросил про мать. Я рассказал, что у нее был удар, и, кажется даже немного сгустил краски — чуть ли не прослезился. Он кивнул, глядя мим моего левого уха и гремя мелочью в кармане брюк. Последовала пауза, я сом и шумно вздыхал. «Что ж, — бодрым голосом прервал он молчание, — опять значит, отправляешься путешествовать?» Я пожал плечами. «У него тачка сломалась», — вставил Уэлли и гнусно хохотнул. Чарли нахмурился, изобразив на ли сочувствие.

«В самом деле?» Он говорил медленно, растягивая слова, без модуляций. За столиком, где сидели актеры, раздался взрыв смеха, да такого громкого, что зазвенели бокалы, но Чарли даже не шелохнулся. Для подобных мест и ситуаций он выработал определенную манеру поведения, научился и присутствовать, и отсутствовать. Он стоял очень прямо, сдвинув свои черные штиблеты и прижав портфель к бедру; одна рука сжата была в кулак и покоилась на стойке (так и вижу его в этой позе!), а другая подносила к губам стакан виски — казалось, он заглянул сюда по ошибке, однако слишком хорошо воспитан, чтобы уйти, не пропустив стаканчик и не обменявшись любезностями с завсегдатаями. Он умел пить всю ночь с таким видом, будто в любую минуту может встать и покинуть помещение. Да, Чарли способен всех их заткнуть за пояс.

Чем больше я пил, тем больше любил его, ведь он, ко всему прочему, исправно платил за мой джин. Да и в джине ли дело? Я и впрямь искренне любил и продолжаю любить его — об этом, впрочем, уже, кажется, упоминалось. Я не говорил, что это он устроил меня на работу в институт? Мы поддерживали связь, когда я учился в колледже, хотя правильней будет сказать, что он поддер-

живал связь со мной. Чарли любил изображать из себя старшего товарища, умудренного опытом старого друга семьи, который присматривает за единственным — и талантливым — сыном своих старинных друзей. Он всячески развлекал меня: водил пить чай в «Хибэрни-ен», брал на увеселительные прогулки в Курраг, угощал в мой день рождения обедом в «Джаммете». Однако задушевные отношения из-за нарочитости, продуманности этих мероприятий между нами не складывались. Я всегда боялся, как бы кто-нибудь не увидел меня с ним, поэтому дулся и не находил себе места, а он впадал в состояние тревожного уныния. Когда же приходило время расставаться, разговор неожиданно оживлялся — ни он, ни я не скрывали облегчения и с виноватым видом расходились каждый в свою сторону. Однако это его не остановило, и уже на следующий день после нашего с Дафной возвращения из Америки он пригласил меня в отель «Шелборн» выпить по стаканчику и поинтересовался, не хотел бы я, как он выразился, «подсобить ребятам из института». Я еще не вполне пришел в себя от изматывающего морского путешествия — была зима, да и пароход оказался хуже некуда, он же был так осторожен, выражался так туманно, столько не

договаривал, что я не сразу понял: ведь он предлагает мне работу. Институт, поспешно заверил он меня, находится буквально в двух шагах от моего дома; да это и работой не назовешь: для такого, как я, это будет развлечение, а не работа; платят при этом вполне прилично, возможности — неограниченные. Я-то, разумеется, сразу понял и по его просительному тону, и по собачьим глазам, что действует он по наущению моей матери. «Ну-с, — говорил он, напряженно улыбаясь и демонстрируя свои большие желтые зубы, — что скажешь?» Сначала все это меня раздражало, но потом показалось забавным. «Почему бы и нет?» — подумал я.

Если суд не возражает, я ненадолго остановлюсь на этом периоде своей жизни. Это время — не могу даже сказать почему — по-прежнему является для меня источником какой-то смутной тревоги. У меня такое чувство, будто я поступил нелепо, согласившись на эту работу. Разумеется, она была недостойна меня, моего таланта, но только этим унижение, которое я испытываю и по сей день, не объяснишь. Возможно, это был момент в моей жизни, когда… нет, все это вздор, нет никаких моментов, я уже говорил об этом. Есть лишь беспрестанная, медленная, бездарная инерция, и

если раньше у меня еще были сомнения на этот счет, то институт их окончательно развеял. Располагался он в величественном сером каменном здании прошлого века, которое своими крыльями, опорами, своим причудливым орнаментом и почерневшими трубами всегда напоминало мне огромный устаревший океанский лайнер. Никто толком не мог сказать, какие задачи перед нами ставились. Мы занимались статистическими исследованиями и выпускали толстые отчеты, изобилующие графиками, таблицами и многостраничными приложениями. Правительство не уставало хвалить нас «за проделанную работу» — и начисто о ней забывало. Директором института был большой, очень шумный человек; он со свирепым видом сосал огромную черную трубку, у него дергался левый глаз, а из ушей лезла буйная растительность. Он стремительно носился по институту и все время норовил куда-то уехать. На все наши вопросы и просьбы директор отвечал хриплым, обреченным каким-то смехом. «Попробуйте поговорить с министром!» — кричал он просителю на ходу и, убегая, обдавал его искрами и густым клубом табачного дыма. Неудивительно, что процент безумцев в нашей организации всегда был очень высок. Работники института не

знали своих обязанностей, а потому потихоньку занимались реализацией собственных проектов. Один наш сотрудник, экономист, высокий, чахлый, с зеленоватым лицом и всклокоченными волосами, разрабатывал, например, надежную, математически выверенную систему игры на ипподроме. Однажды он остановил меня в коридоре и, лихорадочно вцепившись дрожащей своей ручонкой мне в запястье и прильнув к моему уху, начал свистящим шепотом уговаривать меня опробовать его систему «в деле», но затем что-то, как видно, произошло — уж не знаю, что именно, — он меня в чем-то заподозрил и в конечном счете перестал даже со мной раскланиваться, стал меня избегать. Было это очень некстати, так как он принадлежал к той привилегированной группе ученых мужей, с которыми мне приходилось ладить, чтобы иметь доступ к компьютеру — центру всей нашей институтской жизни. Время работы на нем было расписано по минутам, и редко кому удавалось просидеть за компьютером целый час кряду. Из огромной белой комнаты в подвале, где он был установлен, круглосуточно слышалось его глухое, мерное гудение. По ночам за ним присматривала таинственная и зловещая троица: один тип постарше, на вид военный пре-

ступник, и двое помоложе, оба со странностями, у одного — изуродованное лицо. Три года я просидел в этом заведении. Сказать, что я ощущал себя очень уж несчастным, нельзя — просто, как уже говорилось, я испытывал (и испытываю по сей день) какую-то неловкость, неудобство от своего пребывания там. И Чарли Френчу я этого не простил.

Когда мы вышли из паба, была уже ночь — хрупкая, стеклянная. Я был очень пьян, и Чарли вел меня. Помню, он волновался за свой портфель и судорожно прижимал его к груди. Я то и дело останавливался и говорил ему, какой он хороший. «Нет, — я внушительно подымал руку, — нет, я просто не могу не сказать этого: вы хороший человек, Чарльз, хороший человек». Монологами, естественно, дело не ограничивалось, я и горько рыдал, и давился, и даже несколько раз принимался блевать. Упоительная, мрачная, незабываемая прогулка! Я помнил, что Чарли живет вместе со своей матерью, и всплакнул по этому поводу тоже. «Как она? — тоскливо восклицал я. — Скажите, Чарли, как она, эта святая женщина?» Какое-то время он отмалчивался, делая вид, что не слышит, однако я не отставал, и в конце концов, с раздражением тряхнув головой,

он процедил: «Да она умерла!» Я полез к нему с поцелуями, но он вырвался и прибавил шагу. Мы подошли к дыре в асфальте, отгороженной красно-белой ленточкой. Ленточка подрагивала на ветру. «Вчера на этом месте взорвалась бомба», — сказал Чарли. Вчера! Я громко засмеялся и, смеясь, опустился перед ямой на колени и закрыл лицо руками. Вчера! Последний день прежней жизни. «Постой, — сказал Чарли, — пойду поймаю такси». Он ушел, а я, по-прежнему стоя на коленях, стал качаться из стороны в сторону и что-то мурлыкать себе под нос, как будто держал на руках младенца. Я устал. День получился длинный. Я далеко зашел.

Проснулся я оттого, что в лицо мне било солнце, а в ушах стихал душераздирающий крик. Широкая продавленная кровать, коричневые стены, запах сырости. Я решил, что я в Кулгрейндже, в родительской спальне. С минуту я лежал не двигаясь, глядя на скользящие по потолку солнечные блики. Потом, все вспомнив, зажмурился и закрыл голову руками. Темно, гулко. Я встал, с трудом подошел к окну и обомлел: такими ярко-синими, такими невинными были небо и море. На горизонте виднелись паруса, поворачивающиеся но ветру. Прямо под окном

находилась миниатюрная, выложенная камнем гавань, а за ней делало вираж прибрежное шоссе. Неизвестно откуда возникшая огромная чайка пронзительно кричала и молотила крыльями по стеклу. «Решили, должно быть, что ты мама, раздался у меня за спиной голос Чарли. Он стоял в дверях в грязном фартуке. — Она ведь кормила чаек», — пояснил он. Ослепительный, непроницаемый свет за его спиной. И в этом мире, в этом обжигающем, неотвратимом свете мне предстоит теперь жить. Я опустил глаза и обнаружил, что стою совершенно голый.

Я сидел в просторной кухне под большим закопченным окном и смотрел, как Чарли готовит завтрак в облаке густого, едкого дыма. При дневном свете выглядел он неважно: лицо серое, щеки ввалились, на подбородке хлопья высохшей пены для бритья, под бесцветными глазами набухшие мешки. Под фартуком у него была шерстяная домашняя кофта, надетая прямо на грязную «сетку», и отвисшие, мятые фланелевые брюки. «Дождется, пока я уйду, — говорил он, — и бросит им еду за окно. — Он покачал головой и засмеялся. — Ужасная была женщина, ужасная». Он поставил передо мной тарелку с ломтиками бекона, зажаренным хлебом и яичницей. «Давай

перекуси — полегчает», — бросил он. «Полегчает?!» Уж не сболтнул ли я что-то спьяну вчера вечером? Нет, вряд ли, Чарли не стал бы прохаживаться по этому поводу. Он вернулся к плите и, чиркнув спичкой, закурил.

«Знаете, Чарли, — сказал я, — я тут влип в историю…»

Сначала я подумал, что он меня не слышит. Он весь как-то сник, на лице появилась мечтательная отрешенность, рот приоткрылся и слегка скривился, брови поднялись. Тут только я понял, что молчит он из вежливости. Ну что ж, не хочешь знать — не надо. И все же мне хотелось бы, милорд, чтобы это занесли в протокол: если б он готов был меня выслушать, я бы обязательно все ему рассказал. Поскольку же сам он инициативы не проявлял, я выдержал паузу, а затем попросил его одолжить мне бритву, а также, если можно, рубашку и галстук. «Конечно, о чем речь», — отозвался Чарли, однако в глаза мне старался не смотреть. Собственно, глаза он отводил все время, с тех самых пор как я встал; он суетился, бегал взад-вперед с чайником и с кастрюлькой, но в мою сторону не смотрел, словно боялся, что, остановись он, встреться со мной глазами, — и между нами возникнет какая-то неловкость, с

которой он не сможет справиться. Что-то, думаю, он заподозрил. Он ведь неглуп. (Во всяком случае, не настолько глуп.) А может, просто мое присутствие было для него в тягость. Он то и дело переставлял на столе посуду, убирал вещи в комоды и в буфеты, а через минуту, что-то бормоча себе под нос, снова зачем-то их извлекал. В этом доме люди бывали нечасто. Чарли вновь, как и накануне, вызывал у меня сентиментальные чувства. В этом грязном фартуке, в старых войлочных шлепанцах было что-то почти материнское. Уж он-то не бросит меня в беде. Я залпом выпил чай и угрюмым взглядом окинул простывшую яичницу с беконом. Внизу загудела машина, и Чарли, охнув, скинул фартук и опрометью вылетел из кухни. Слышно было, как он суматошно бегает по всему дому. Не прошло, однако, и нескольких минут, как он появился вновь, в своем полосатом костюме, с портфелем под мышкой и в маленькой лихо заломленной шляпе, В которой он похож был на суетливого ипподромного «жучка». «Где ты остановился? — спросил он, хмуро посмотрев на пятно на моем левом плече. — В Кулгрейндже или?..» Я ничего не ответил, только умоляюще посмотрел на него, и он сказал: «А...», медленно кивнул и так же медленно вышел. Внезапно для

самого себя (я не хотел, чтобы он уходил, — не оставаться же одному!) я бросился за ним следом, заставил его вернуться и объяснить, как включается плита, где лежит ключ и что делать, если принесут молоко. Видно было, что он несколько озадачен, даже напуган моей настойчивостью. Я пошел за ним в прихожую и продолжал говорить даже тогда, когда он направился к выходу, пятясь задом и настороженно, с застывшей улыбкой кивая мне, как будто я был… ха! чуть было не сказал… опасным преступником. Едва он вышел, я взлетел по ступенькам в спальню и стал смотреть из окна, как он идет по дорожке; сверху, в своей сдвинутой набекрень шляпке и в мешковатом костюме, он походил на клоуна. У тротуара его поджидал большой черный автомобиль, из двойной выхлопной трубы вырывался прозрачный голубой дымок. Шофер, осанистый мужчина без шеи, в темном костюме, стремительно выскочил из машины и открыл заднюю дверцу. Чарли поднял глаза на окно, у которого стоял я, и шофер поглядел туда же. Я увидел себя их глазами: смазанные черты лица за стеклом, тусклый взгляд, щетина — беглый каторжник, да и только. Автомобиль плавно тронулся с места, выехал на шоссе за гаванью, свернул за угол и

исчез из виду. Я не шелохнулся. Хотелось простоять так, прижавшись лбом к стеклу, весь день. Как же чудно все это выглядит: белые барашки на синей глади моря, бело-розовые дома, неясные очертания мыса на горизонте; все чудно и безмятежно, словно игрушечный город, выставленный в витрине магазина. Я закрыл глаза, и из глубин памяти опять всплыл все тот же эпизод: дверь, за дверью темная комната и ощущение чего-то неумолимо надвигающегося — только теперь мне казалось, что это не из моей жизни.

Тишина у меня за спиной разрасталась, точно опухоль.

Я сбегал вниз, на кухню, схватил свою тарелку с яичницей и посеревшим беконом и, перескакивая через три ступеньки, вновь поднялся наверх, открыл окно и выбрался на узкий железный балкончик. Подул сильный теплый ветер, я вздрогнул и на мгновение задохнулся. Взяв с тарелки несколько кусков, я подбросил их в воздух; чайки накинулись на богатую добычу, хрипло крича от изумления и жадности. Из-за мыса бесшумно возник переливающийся на солнце белый пароход. Когда тарелка опустела, я, сам не знаю зачем, выбросил и ее тоже — метнул, как мечут диск. Перелетев через дорогу и через стену гава-

ни, она с легким всплеском скользнула в воду. Тепловатый жир застыл у меня между пальцев, засохший желток забился под ногти. Я проник обратно в комнату и вытер руки о простыню — сердце у меня учащенно билось от возбуждения и отвращения. Я не понимал, что делаю, что буду делать через минуту. Я не понимал сам себя. Я стал чужим — непредсказуемым и опасным.

Я обследовал дом. Прежде мне никогда здесь бывать не приходилось. Дом был громадный, с темными занавесками, громоздкой коричневой мебелью и залысинами на коврах. Строго говоря, назвать его грязным было нельзя, однако чувствовалась в нем затхлость, обездвиженность, какая бывает, когда вещи слишком долго стоят на одних и тех же местах; чувствовалось, словом, что его жизненная энергия давно уже израсходована. В доме стоял запах плесени, спитого чая, старых газет и — по углам — выдохшийся, сладковатый запах, который оставила в память о себе матушка Френч. Представляю, как в(будут покатываться со смеху, если я скажу, что щепетилен, но это так. Мне стало не по себе еще до того, как я начал рыться в вещах Чарли: я боялся, как бы чего там ни найти. Его печальные маленькие тайны наверняка были ничем не хуже моих или

чьих-то еще, и все же, когда я, отвалив камень, их обнаруживал, то содрогался, мне становилось стыдно — и за него, и за себя. Однако я отбросил стыд, ожесточился, проявил настойчивость, и в конце концов упорство мое было вознаграждено. В его спальне стоял секретер с убирающейся крышкой, с которым пришлось как следует повозиться. Прежде чем удалось открыть его, я минут десять орудовал кухонным ножом, становился на корточки, обливался потом из чистого спирта. Внутри я обнаружил несколько банкнот и пластиковый бумажник с кредитными карточками. Были тут и письма (в том числе и от моей матери), написанные лет тридцать — сорок назад. Читать эти письма я почему-то не стал, аккуратно сложил их вместе с кредитными карточками и — поверите ли? — деньгами и вновь запер секретер. Выходя из комнаты, я обменялся застенчивой улыбкой со своим отражением в зеркале. Нет, что ни говори, а немец (забыл его имя) был прав: деньги — это абстрактное счастье.

Ванная комната находилась между первым и вторым этажом и представляла собой нечто вроде пристройки с газовой колонкой и похожей на гигантскую ступню ванной. Склонившись над умывальником и орудуя бритвой Чарли со сле-

дами мыльной пены, я принялся соскабливать двухдневную щетину. Сначала я решил было отпустить — в целях конспирации — бороду, но потом передумал: я и без того себя потерял, не хватает еще лишиться лица. В вогнутой серебристой поверхности бритвенного зеркальца мои увеличенные черты — квадратный подбородок с ямочкой, одна черная ноздря с торчащими волосками, вращающийся зрачок — угрожающе подпрыгивали и покачивались, точно подводные чудовища в иллюминаторе батисферы. Побрившись, я залез в ванну, пустил воду и закрыл глаза, испытав одновременно и блаженство, и обжигающую муку; если б горелка не погасла, я пролежал бы так, вероятно, весь день — потерянный для себя и для всего кругом в этом ревущем гробовом мраке. Когда я открыл глаза, перед моим взором плясали и лопались крошечные звездочки. Я прошлепал, оставляя на полу мокрые следы, в комнату Чарли и долгое время выбирал, что бы надеть. В конечном счете выбор мой остановился на темно-синей шелковой рубашке, довольно двусмысленного вида галстуке в цветочек, черных носках (тоже, разумеется, шелковых — Чарли не из тех, кто на себе экономит) и темных брюках, мешковатых, но хорошего покроя, из

тех старомодных вещей, что всегда могут вновь войти в моду. Пока что обойдусь без белья, решил я; ведь даже у скрывающегося от правосудия убийцы могут быть свои принципы — мои же строго запрещали мне ходить в чужих трусах. Свою собственную одежду (она была свалена на полу и словно ждала, чтобы ее очертили мелом) я собрал в узел, отнес, брезгливо отвернувшись, на кухню и запихнул в пластиковый пакет для мусора. Потом я помыл и вытер посуду и вышел на середину кухни с грязным полотенцем в руках; но тут перед моими глазами отчетливо, точно на выставочном стенде, возникло ее окровавленное лицо, и мне пришлось сесть. Я дрожал всем телом: ведь я, вы поймите, то и дело забывал о ней, и забывал надолго. Моему рассудку, чтобы справиться с ситуацией, нужна была передышка. Усталым взглядом я окинул большую сырую кухню. Интересно, заметит ли Чарльз пропажу тарелки? Почему я бросил ее в море? Зачем это сделал? Еще не было полудня. Время разинуло передо мной свою черную пасть. Я вошел в столовую (тюлевые занавески, огромный обеденный стол, чучело совы под стеклянным колпаком) и остановился у окна, глядя на море. Было во всей этой синеве что-то грозное, пугающее. Я ходил

по комнате, останавливался, с замирающим сердцем прислушивался. Что я ожидал услышать? Снаружи все было тихо, разве что изредка доносился далекий шум чужой жизни, легкое постукиванье и потрескиванье, какое бывает, когда остывает мотор. Такие же дни бывали у меня в детстве, странные, пустые дни, когда я бесшумно бродил по умолкшему дому и сам себе казался привидением, чем-то иллюзорным: воспоминаньем, тенью другого, более цельного себя, живущего, ох, живущего припеваючи где-то совсем в другом месте.

Мне нужно прерваться. Я устал. Устал от себя, от всего этого.

Время. Дни.

Продолжай, продолжай.

Теперь-то я знаю, что такое омерзение. Позвольте мне сказать пару слов об омерзении. Вот он я: сижу голый под своей тюремной робой; ком бледной плоти, плохо нашпигованная колбаса. Встаю и хожу по камере на задних лапах — привязанный зверь, что оставляет за собой, куда бы он ни шел, невидимый снежный след перхоти. На мне живут клещи, лакают мой пот, проникают своими хоботками мне в поры, высасывают из меня соки. А кожа: пупырышки, трещины, щели.

Волосы — подумайте о волосах. А ведь это лишь снаружи. Представьте только, что происходит внутри: красная помпа вздрагивает и хлюпает, легкие трепещут, и где-то в потайных глубинах бесперебойно работает фабрика по производству густой, клейкой массы… Живая падаль, скользкая от слизи, еще не созрела для червей. Ах, надо бы…

Спокойно, Фредерик. Спокойно.

Сегодня ко мне приходила жена. Ничего необычного в этом нет — приходит она каждую неделю. Как подследственный я имею право на неограниченное число посещений — но этого я ей не сказал, а она, даже если знает, молчит. Нам так удобнее обоим. Даже когда ничего особенного не происходит, эти часовые свидания по четвергам представляют собой странный, чтобы не сказать жуткий, ритуал. Проходит он в большой квадратной комнате с маленькими окнами под высоченным потолком. Перегородка из стекла и фанеры (изобретение необычайно уродливое) отделяет нас от наших незабвенных, с которыми мы разговариваем (если это можно назвать разговором), через дезинфицирующий пластиковый фильтр. Карантин такого рода — выдумка недавняя. Нас уверяют, что приспособление это

задумано для того, чтобы наши близкие не передавали нам «с воли» наркотиков, однако я-то думаю, что истинный его смысл в том, чтобы мы не передавали нашим близким те занятные вирусы, что последнее время распространились за решеткой. В комнате для посещений есть что-то от аквариума: бутылочного цвета стены, свет, льющийся из-под самого потолка, и голоса, которые доходят до нас через пластиковую решетку-фильтр, как будто с нами говорят сквозь воду. Мы, заключенные, сидим ссутулившись, тяжело опираясь на сложенные на столе руки; лица у нас бледные, щеки дряблые, в глазах туман; если посмотреть на нас сверху, то похожи мы на раков, раскорячившихся на дне бака. Наши посетители существуют в совершенно ином измерении, их облик отчетливее, яснее; в своем мире они укоренены глубже, чем мы — в своем. Иногда мы ловим в их взгляде смесь любопытства и сострадания, а также чуть заметную брезгливость, которая ранит нас в самое сердце. Они должны чувствовать силу нашей тоски, буквально слышать ее — заунывное, на высокой ноте комариное гудение чистой скорби за стеклянной перегородкой. Их забота о нашей участи скорее удручает нас, чем утешает. Мы ждем этого часа всю неделю и

хотим поэтому спокойствия, благопристойности, приглушенных голосов. Мы же постоянно пребываем в напряжении, боимся, что чья-то жена или подруга вдруг устроит сцену, закричит, начнет бить кулаками по перегородке, рыдать, Когда происходит такое, мы все ужасно расстраиваемся, и впоследствии тот, с кем это происходит, вызывает у нас живейшее сочувствие и трепет, как будто его постигла тяжелая утрата.

Бояться, что сцену устроит Дафна, не приходится. Она всегда сохраняет поразительную выдержку. Вот и сегодня, рассказывая о нашем сыне, она говорила спокойно, смотрела в сторону со свойственной ей легкой рассеянностью. Должен признаться, я на нее рассердился — и не скрывал этого. Надо было предупредить, что, она собирается его обследовать, а не сообщать диагноз, поставив меня перед фактом. Дафна окинула меня насмешливым взглядом, склонив голову набок и почти что улыбаясь: «Ты что, не ожидал?» Я сердито отвернулся и ничего не ответил. Разумеется, ожидал. Я знал, всегда знал, что с ним что-то неладно; знал и говорил ей об этом задолго до того, как она признала мою правоту. С самого начала было что-то странное в его походке, настороженной, шаткой; он перебирал

своими маленькими, трясущимися ножками, как будто изо всех сил старался не уронить какую-то большую, тяжелую вещь, опущенную ему в руки; было что-то жалкое в том, как он смотрел на нас снизу вверх испуганно и просительно, точно какой-то зверек, выглядывающий из своей норки. «Куда ты его водила? В какую больницу? Что они сказали?» Она пожала плечами: «Со мной они держались очень мило, даже трогательно». Врач долго с ней разговаривал. Это очень редкое заболевание, чей-то синдром, забыла чей, то ли швейцарца, то ли шведа — один черт! Он никогда не заговорит, как все. И вести себя, как все, не будет тоже. У него что-то с мозгом, чего-то там не хватает, чего-то жизненно важного. Она все это мне объясняла, приводила слова доктора, но слушал я ее невнимательно. Меня охватила какая-то апатия. Я словно бы впал в ступор. Зовут его Вэн, я не говорил? Вэн. Ему семь лет. Когда я выйду, ему будет… сколько же ему будет? Тридцать с чем-то? Господи, почти столько же, сколько сейчас мне. «Большой ребенок» — вот как, участливо, будут называть его в Кулгрейндже. Большой ребенок.

Не буду, не буду плакать. А то если начну, то никогда не кончу.

После обеда я вновь залез в секретер Чарли, по-

заимствовал оттуда немного денег и отважился спуститься в гавань, за газетой. Какое странное, щекочущее возбуждение я испытал, входя в магазин: сосало под ложечкой, мне чудилось, будто я медленно двигаюсь в какой-то плотной, вязкой среде. Думаю, в глубине души я надеялся — нет, верил, — что как-нибудь да пронесет, что все, как по волшебству, кончится хорошо: злая ведьма исчезнет, чары рассеются, принцесса пробудится от мертвого сна. И действительно, когда я развернул газету, то в первый момент мне показалось, что провидение на моей стороне: ничего, кроме информации о позавчерашнем взрыве и его последствиях, в глаза мне не бросилось. Я купил три утренних выпуска и первый вечерний, отметив про себя (или это с перепугу?), что прыщавая девица за прилавком исподлобья на меня посмотрела. Потом я побежал обратно с такой прытью, будто под мышкой у меня были не газеты, а какой-нибудь экзотический суперпорнографический журнал. Ворвавшись в дом, я оставил газеты на кухонном столе, а сам опрометью бросился в уборную, где от волнения ухитрился намочить брючину. После долгих, лихорадочных поисков я отыскал недопитую бутылку джина и отхлебнул прямо из горлышка.

После этого я попытался придумать себе еще какое-нибудь дело, но ничего не придумал и на ватных ногах вернулся на кухню, не торопясь сел за стол и развернул газеты. В одной из них, утренней, я сразу углядел небольшую заметку, затерявшуюся под фотографией пострадавшего от взрыва: весь перебинтованный, он сидел на больничной койке. В вечернем выпуске была статья побольше и две фотографии. На одной из них я узнал мальчишек, что кидались камнями возле отеля, — они-то ее и нашли. С другой на меня с важным видом смотрела она; вероятно, они увеличили какой-то групповой снимок, сделанный то ли на свадьбе, то ли на танцах; она была в длинном уродливом платье с ажурным воротником и с букетом (если это был букет) в руках.

Звали ее Джозефин Белл. На второй полосе я обнаружил фотографию Беренсов, отца и дочери, еще одну фотографию с видом галереи Уайтуотер-хаус, а также пространную статью о собрании Беренса, которая изобиловала опечатками и перевранными датами. Репортер газеты успел уже съездить за город и взять интервью у миссис Бриджид Белл, матери и вдовы. Миссис Белл запечатлели на фоне ее домика: нескладная, крупная, с грубым лицом, в фартуке и в старой

длинной кофте, в объектив смотрит с каким-то вялым испугом. Ее Джози, сообщила она газете, «была хорошая, приличная девушка. И зачем надо было ее убивать?» И тут я вновь очутился в машине и увидел ее перед собой: сидит в луже собственной крови, смотрит на меня в упор, на губах раздувается и лопается розовый пузырь. «Мамми» ’ — вот какое слово она произнесла, я только сейчас понял; не «Томми», а «мамми», не «любимый», а «любимая»: мамочка любимая.

Думаю, что время, которое я провел у Чарли Френча, навсегда останется самым странным периодом моей жизни, еще более странным и нелепым, чем первые дни в этом доме. Заточенный в коричневом сумраке этих комнат, окруженный со всех сторон этим ослепительным ультрамариновым светом, я ощущал себя подвешенным между небом и землей, закупоренным в бутылке, отрезанным от всех и вся. Было два времени: одно показывали часы, и тянулось оно невыразимо медленно; другое находилось у меня в голове и неслось с лихорадочной быстротой — как будто пружина лопнула и все механизмы вышли из-под контроля. Я подолгу, словно часовой, мерил шагами кухню — ссутулившись, сунув руки в карманы, строя самые невероятные

планы, не замечая, как расстояние между поворотами постепенно сокращается, — пока наконец неожиданно не остановился, дико озираясь по сторонам, точно зверь, попавший в капкан. Или же я стоял в большой спальне наверху, у окна, прислонившись спиной к стене, и смотрел на дорогу, смотрел иногда так долго, что забывал, для чего это мне. Машин в этом захолустье было немного, и вскоре я стал даже узнавать отдельных прохожих: рыжеволосую девушку из соседнего дома, подозрительного типа с холеным лицом и портфелем коммивояжера; нескольких стариков, которые либо прогуливали своих шавок, либо, в одно и то же время, тащились по магазинам. Узнаю я и тех, кто придет за мной. Если, конечно, их увижу. А то ведь они могут незаметно окружить дом и выбить дверь — и только после этого заявят о своем присутствии. И все же я стоял и стоял у окна, смотрел и смотрел: не столько скрывающийся преступник, сколько истомившийся влюбленный.

Все изменилось, все. Я отрешился от себя, от всего того, чем я когда-то был. Моя прежняя жизнь казалась мне эфемерной, словно сон. Вспоминать о прожитом было все равно что думать о прошлом какого-то совершенно постороннего

человека; человека, с которым сам я не знаком, но жизнь которого знаю наизусть. Прошлые годы представлялись мне теперь не более чем ярким вымыслом, да и настоящее было ничуть не более реальным. Я ощущал себя невесомым, неуловимым, балансирующим за гранью всего сущего. Земля у меня под ногами была туго натянутым брезентом, я должен был стоять не шелохнувшись, дабы избежать непредвиденных колебаний, опасных прыжков и кульбитов. А окружала меня необъятная и прозрачная синева.

Непосредственно о том, что я наделал, я думать не мог. Это было бы все равно что смотреть не мигая на слепящий свет. Сделанное мною было чем-то слишком большим, слишком ярким для созерцания. И непостижимым. Даже теперь, когда я говорю, что сделал это, я не до конца понимаю, что говорю. Поймите меня правильно, я вовсе не стремлюсь прятать голову под крыло, не хочу мямлить и запинаться, морочить голову следствию, скрывать улики. Я убил ее, я это признаю. Но повторись эта ситуация сегодня, я бы сделал то же самое, и не потому, что мне бы этого хотелось, а потому, что у меня не было бы выбора. Все было бы точно так же, как тогда: и этот паук на стене, и лунный свет между деревья-

ми, и все остальное, все — от начала до конца. Не стану также утверждать, что я не желал убивать ее, — неясно только, когда именно желание это возникло впервые. Я был возбужден, ' раздражен, зол — и потом, она ведь атаковала меня первой. Я замахнулся, замах перешел в удар, а тот, в свою очередь, явился прелюдией ко второму удару, стал, так сказать, его апогеем или нет... перигеем? — и так далее. Во всем этом процессе нет ни одного мгновения, про которое я мог бы с уверенностью сказать: тогда-то я и решил, что она должна умереть. Решил? Вряд ли тут можно было что-то решить. Вряд ли даже тут можно было о чем-то подумать. Этот толстобрюхий монстр внутри меня, как видно, понял, что у него есть шанс, и выпрыгнул наружу с пеной у рта и со стиснутыми кулаками. У него были счеты с внешним миром, а кто, как не она, тогда этот мир олицетворял? Я не мог его остановить. Или мог? Ведь он, в конце концов, — это я, а я — это он. Но нет, остановить его было уже невозможно — я выпустил ситуацию из-под контроля. Быть может, в том и состой! суть моего преступления, моей вины, что я довел дело до этой стадии, что я не был достаточно бдителен и хитер, что я предоставил толстяка самому себе и подтолкнул

его тем самым к пагубной для себя мысли: он свободен, дверца его клетки открыта, запретов не существует, и все дозволено.

После моего появления в суде газеты писали, что, когда зачитывалось обвинение, я не проявил никаких признаков угрызения совести. (Они что же, ожидали, что я буду рыдать, рвать на себе волосы?!) А впрочем, они были по-своему недалеки от истины: ведь угрызения совести предполагают надежду на прощение; я же знал — то, что совершено, непростительно. Я мог бы изобразить сожаление, печаль, раскаянье — но с какой целью? Даже если бы я и в самом деле от души раскаивался, разве б это что-то изменило? Дело было сделано — и все мои стенания и покаянные слезы сделанного не отменяли. Да, дело было сделано, окончательно и бесповоротно (в жизни своей я никогда ничего не делал с такой окончательностью и бесповоротностью), и в то же время — я знал это наперед — конца этому делу не будет. Я ощущал на себе — почти осязаемо — тяжкое бремя ответственности. Ведь, убив Джози Белл, я уничтожил частицу мира. Удары молотка разрушили совокупность воспоминаний, чувств и возможностей, а попросту говоря — человеческую жизнь, которая была невозвра-

тима, но которую каким-то образом следовало теперь возместить. За совершенное убийство меня схватят и лишат свободы (об этом я думал со спокойствием и уверенностью, которые только при парадоксальности мышления и возможны), а потом скажут, что я свою вину искупил, полагая, что, бросив меня, живого, за решетку, они тем самым добиваются известного равновесия. Да, они правы — но только если руководствоваться законами возмездия и искупления; такое равновесие, однако, будет в лучшем случае иметь отрицательные последствия. Нет, нет. Тут необходима не моя символическая смерть (я сознавал это, хотя и не понимал, что она означает), а ее возвращение к жизни. Только это, и ничего больше.

Вернувшись в тот вечер, Чарли переступил через порог с опаской, словно боялся, что ему на голову упадет ведро с водой. Я встретил его покачиваясь, с ехидной, косой улыбочкой. Джин я к этому времени уже допил и теперь — без особого, правда, удовольствия — перешел на виски. По-настоящему пьян я не был, однако пребывал в состоянии какой-то застывшей эйфории, как будто целый день промучился в кресле зубного врача. Под воздействием свежей порции спиртного вчерашний хмель затаился в ожидании

своего часа. Я чувствовал, как кожа становится горячей и сухой, глаза — опаленными. «Привет!» — гаркнул я, глупо засмеявшись, и в унисон смеху в стакане моем застучали кубики льда. Чарли покосился на мой наряд. «Надеюсь, вы не против? — спросил я. — Вот уж не думал, что у нас с вами одинаковый размер». — «Да, — отозвался Чарли, — да, ничего удивительного, я ведь усох от старости, понимаешь?» И он разразился кладбищенским смехом. Он явно рассчитывал, что вечером, когда вернется, меня уже не застанет. Я вышел следом за ним в прихожую, где он снял свою букмекерскую шапчонку, положил ее вместе с портфелем на низкий комод мореного дуба, после чего прошел в столовую и налил себе скромную порцию виски, разбавив ее выдохшейся содовой из бутылки с завинчивающейся пробкой. Он сделал глоток и некоторое время, словно забывшись, молча стоял, сунув руку в карман и хмуро глядя себе под ноги. Своим присутствием я нарушал его вечерний распорядок. Бутылку виски он убрал, даже не предложив наполнить мой стакан. После этого мы вместе потащились на кухню, где Чарльз вновь нацепил фартук и начал рыться в буфете и по полкам в поисках всего необходимого для приготовле-

ния тушеного мяса. Стряпая, он одновременно разговаривал со мной, глядя через плечо, держа сигарету в углу рта и жмурясь от табачного дыма. Рассказывал он о том, какую картину удалось сегодня продать, какую купить, что-то в этом роде. Думаю, говорил он исключительно из страха, как бы не воцарилось молчание. Впрочем, слушал я его вполуха, зато внимательно смотрел, как он щедрой рукой плеснул в тушившееся мясо полбутылки «поммеро-ля» ценой в пятьдесят фунтов. Угодил в горшочек с мясом и пепел от сигареты, и Чарли, цокая языком с досады, долго и безуспешно пытался его оттуда выудить. «Можешь себе представить, — говорил между тем он, — что такое для меня расставаться с живописью!» Я с серьезным видом кивал, сам же представил себе, как в своей убогой галерее Чарли потирает руки и расшаркивается перед какой-то стервой в мехах. От стервы несет дорогой пудрой и потом; ее муженек дал ей денег, чтобы она купила себе какую-нибудь безделушку на день рождения. Неожиданно для самого себя я расстроился и сник.

Перекладывая мясо на блюдо, Чарли несколько кусков уронил на пол. Вообще с кухонной утварью он был не в ладах: подносы, половники, прихватки оживали в его руках и начинали жить

своей, самостоятельной, жизнью — норовили выпрыгнуть, вывернуться, выскользнуть у него из рук. Мы отнесли наши приборы в столовую и сели за стол, под чучелом совы, не сводившей с нас своего злобного остекленевшего взгляда. Мы допили початую бутылку «поммероля», и Чарльз откупорил другую. Он по-прежнему изо всех сил старался избегать моего взгляда и ради этого улыбался абсолютно всем окружавшим его предметам: полу, мебели, каминным щипцам, как будто все привычное, избитое, каждодневное предстало ему в совершенно новом, непривычном свете. В высоком окне у меня за спиной пламенело заходящее солнце. На вкус мясо напоминало жженый мех. Я отодвинул тарелку, повернулся к окну и посмотрел на гавань. Через все окно длинной трещиной проходила огненная нить заката. Что-то напомнило мне Калифорнию: и солнце, и маленькие яхты, и вечерняя позолота моря. Я так устал, так устал, что мог бы, кажется, все бросить и, точно морской ветер, вылететь из этих стен и раствориться в летних сумерках — никому не ведомый, беззаботный, свободный. Чарли раздавил намокший окурок о край тарелки. «Читал про Бинки Беренса?» — спросил он. Я подлил себе вина. «Нет, а что случилось,

Чарльз?»

Кстати, что бы я делал во всей этой истории без спиртного, без его притупляющего действия? В те дни я стремительно переходил из одного пьяного равновесия в другое, наподобие того, как беглец, спасая свою жизнь, перепрыгивает, скользя и спотыкаясь, с камня на камень. Даже цвет выпивки (синий — джина и красный — бордо) — не является ли он символом моего дела, моих свидетельских показаний? Теперь, когда я отрезвел навсегда, я вспоминаю это время (да и всю свою прошлую жизнь тоже), как непрерывную, хотя и не особенно веселую попойку, которая рано или поздно кончится — я это знал наперед — мучительной головной болью. Что ж, всякая пьянка кончается похмельем, и тут уж ничего не поделаешь.

Остаток вечера, насколько я помню, явился для меня целой серией тяжелых нокаутирующих ударов. Тогда-то я и узнал впервые, что у моего отца была любовница. Сперва я очень удивился, потом — обиделся. Выходит, меня он использовал в качестве алиби, прикрытия! Пока я часами сидел на заднем сиденье машины, неподалеку от яхт-клуба, в Дун-Лэаре, он занимался любовью со своей красоткой. Звали красотку Пенелопа

— вы только подумайте, Пенелопа! И где же, интересно знать, они встречались, где эти голубки свили свое укромное гнездышко, с розочками над дверью и зеркалом на потолке спальни? Чарли пожал плечами, «Они приходили сюда», — сказал он. Сначала я даже не понял, что он говорит. «Сюда?! Сюда? Но как же…» Он снова пожал плечами и изобразил на лице нечто вроде улыбки. «Мама ничего не имела против. Иногда она даже оставляла их пить чай. Они с Пенелопой обменивались журналами по вязанью. Понимаешь, она знала… — Тут Чарли умолк, потрескавшаяся кожа у него на щеках слегка покраснела, и он засунул палец под воротничок рубашки. Я ждал. — Она знала, что я… неравнодушен к твоей… к Долли», — выговорил он наконец. У меня голова шла кругом. Я хотел было что-то сказать, но Чарли перебил меня, сообщив, что Бинки Беренс тоже ухаживал за моей матерью; он стал рассказывать, как Бинки приглашал ее вместе с моим отцом в Уайтуотер и спаивал отца, чтобы тот не замечал его игривого взгляда и нескромных прикосновений. А потом моя мать рассказывала все Френчу, и они вместе покатывались со смеху… Чарли покачал головой и вздохнул: «Бедный Бинки…» Я сидел, изо всех сил пытаясь прямо держать бокал, и не верил

своим ушам, я был ошеломлен, я чувствовал себя ребенком, впервые услышавшим о свершениях богов. Они, эти несообразные, устаревшие и далеко не безгрешные персонажи со своими тайнами, одиночеством и невероятными увлечениями, толпились в моей бедной, гудевшей от выпитого голове. Чарли говорил обо всем этом как о чем-то само собой разумеющемся — с сожалением и в то же время не без некоторого удовольствия. Говорил так, будто меня тут не было, воспринимая мои удивленные повизгивания и похрюкиванья с легким недоумением. «А вы, — начал было я, — что было у вас с моей…» Эту мысль мне трудно было выразить словами. Чарли бросил на меня игривый и в то же время отрешенный взгляд.

«Давай, — сказал он, — допивай бутылку».

По-моему, в тот вечер он что-то рассказал мне о моей матери, но что именно — не помню. Зато хорошо помню, как, уже совсем поздно вечером, я звонил ей в Кулгрейндж, сидя на полу в темной прихожей и поглаживая, точно кошку, лежавший на коленях телефон. Слышно было плохо, голос матери доносился откуда-то издалека, терялся, пропадал. «Фредди, — сказала она, — ты пьян. — Она спросила, почему я не вернулся. — Забрал хотя бы свой чемодан». — «Мать, как же

я могу теперь вернуться домой», — подмывало меня сказать ей. С минуту мы молчали, а потом она сообщила, что звонила Дафна, спрашивала, где я, чем занимаюсь. Дафна! За последние дни я не вспомнил о ней ни разу. Дверь на кухню была открыта, и из прихожей я видел, как Чарли наводит порядок, как гремит горшками и кастрюлями, делая вид, что не слышит, о чем я говорю. Я вздохнул, и вздох этот перерос в легкий, едва слышный стон. «Мать, — сказал я, — у меня неприятности, большие неприятности». В трубке (а может, у меня в голове?) раздался треск, как будто много птиц одновременно громко захлопали крыльями. «Что? — переспросила она. — Что? Не слышу — что ты сказал?» Я засмеялся, и по щекам у меня сбежали две большие слезы. «Ничего! — прокричал я. — Ничего, не важно! — А потом спросил: — Послушай, ты знаешь, кто такая Пенелопа? Тебе это имя что-нибудь говорит?» Я был потрясен собственным вопросом. Зачем было спрашивать об этом, причинять ей боль? Она помолчала, а потом рассмеялась. «Эта сука? — сказала она. — Разумеется, я про нее знала». Чарли, с тряпкой в одной руке и с недомытой тарелкой в другой, остановился в дверях и уставился на меня. Свет падал сзади, и лица его я

разглядеть не мог. Последовала очередная пауза. «Ты не щадишь себя, Фредди, — сказала наконец мать далеким, чужим голосом, — ты совсем себя не щадишь». Я не понял, что она имеет в виду. И не понимаю до сих пор. Я немного подождал, но она больше ничего не сказала, я же говорить был не в силах. Это были последние слова, которыми мы обменялись. Я осторожно положил трубку и не без труда поднялся на ноги. Затекло колено. Я прихромал на кухню, где Чарли, с закатанными рукавами и в расстегнутом на спине жилете, мыл посуду, согнувшись над раковиной и не выпуская изо рта сигарету. Небо за окном было каким-то сине-фиолетовым; такую красоту я видел, кажется, впервые в жизни.

«Чарли, — сказал я покачиваясь, — дай мне взаймы».

Я и всегда-то легко плакал, теперь же от любого проявления доброты распускал нюни, словно младенец. Когда Чарли присел за кухонный стол и выписал чек (он хранится у меня до сих пор: корявый почерк, подпись неразборчива, в углу, там, где он придерживал чек большим пальцем, — жирное пятно), я попытался, кажется, схватить его желтую руку и поцеловать. После этого Чарли произнес короткую речь, которую я почти не

запомнил. Помню лишь, что в ней фигурировала моя мать. И Дафна тоже. Если мне не изменяет память, упомянул он даже Пенелопу. Любопытно, а сам Чарли был пьян? Он то попадал в фокус моего зрения, то вновь исчезал — и не столько из-за того, что у меня все мешалось перед глазами, сколько из-за его осторожных, неуверенных движений. Ох, Чарли, вам бы надо было прислушаться к закравшемуся подозрению и выставить меня за дверь, каким бы пьяным и беззащитным я ни был.

Потом, помню, я стоял на коленях в уборной и у меня изо рта извергался могучий красновато-коричневый поток: вино вперемешку с волокнами мяса и ломтиками моркови. Поток этот почему-то вызывал у меня удивление, словно это была не блевотина, а нечто очень ценное и странное, темная струя руды из глубокого рудника моих внутренностей. Потом все завертелось перед глазами, наступила кромешная тьма, а из тьмы мимо меня понеслись какие-то предметы, как будто меня катали, круг за кругом, на шаткой, сделанной из стекла карусели. Затем я лежал на спине на большой неубранной кровати, в комнате наверху; меня знобило, я обливался потом. Горел электрический свет, и окно смот-

релось огромной черной дырой. Я уснул, а когда проснулся (мне показалось, что спал я всего несколько минут), уже ярко светило солнце. В доме стояла тишина, только откуда-то раздавался тоненький непрерывный перезвон, который я не столько слышал, сколько чувствовал. Влажные простыни сбились. Двигаться не хотелось — я ощущал себя хрупким, будто хрусталь. Ломкими были даже волосы — прямые, тонкие, ощетинившиеся. Я слышал, как быстро и тяжело — точно ртуть — несется по жилам кровь. Лицо мое было распухшим, горячим, гладким на ощупь, как у куклы. Когда я закрывал глаза, под веками начинало пульсировать какое-то малиновое пятно, похожее на остаточное свечение взорвавшегося в темноте снаряда. Стоило мне проглотить слюну, как звон в ушах становился глуше. Я задремал, и мне приснилось, что я лежу на поверхности горячего озера. Когда я проснулся, день уже клонился к вечеру; свет в окне, густой, спокойный, без всякой тени, проникал прямо из прошлого. Рот, казалось, набит был ватой, голова — воздухом. С самого детства не испытывал я столь упоительного страдания. Это была не столько болезнь, сколько своего рода отдохновение. Я долго лежал, почти неподвижно, смотрел, как

меняется свет, прислушивался к звукам извне. Багровое солнце постепенно поблекло, небо из сиреневого сделалось розовато-лиловым, зажглась одинокая звезда. Потом вдруг опустилась ночь, я лежал в полудреме, погруженный в мягкий летний мрак, и ничуть не удивился бы, если б вдруг в комнате появилась моя мать, молодая, улыбающаяся, в шуршащем шелковом платье: она прикладывает палец к губам, она пришла пожелать мне спокойной ночи перед уходом в гости. В действительности же появилась не мать, а всего-навсего Чарли; он с опаской приоткрыл скрипящую дверь и, вытянув черепашью свою шею, уставился на меня. Я тут же закрыл глаза, а он на цыпочках вышел из комнаты и, скрипя половицами, спустился вниз. И тут я увидел другую дверь и другую тьму — чье-то чужое воспоминание, чужое, не мое — и стал, затаившись, ждать, не появится ли что-нибудь или кто-нибудь. Но ничего не появлялось.

Этим приступом горячки закончился, думается мне, первый этап моей новой жизни, жизни убийцы. К утру второго дня температура упала. Я лежал, разбросав руки, на влажных, скомканных простынях и глубоко дышал. У меня было ощущение, будто я долго, мучительно бежал по

пояс в воде, но вот наконец выбрался на берег — измученный, дрожащий с ног до головы, но умиротворенный. Я выжил. Вернулся к самому себе. За окном, в поисках матушки Френч, истошно кричали чайки; они подымались и падали на прямых, широко разбросанных крыльях, точно были подвешены на резинках. Я поднялся и на нетвердых ногах подошел к окну. Ветер, солнце, ослепительное, жгуче-синее море. Внизу, в маленькой каменной гавани, покачивались на приколе яхты. Я отвернулся. В веселом этом, многоцветном пейзаже скрывался какой-то упрек мне. Я надел халат Чарли и спустился на кухню. В ровном утреннем свете все казалось неподвижным, словно бы околдованным. О том, чтобы что-нибудь съесть, не могло быть и речи. Я наплел в холодильнике открытую бутылку «аполлинариса» и допил ее. Слабый металлический привкус. Сел за стол, подперев голову руками. Кожа была шероховатой на ощупь, как будто верхний слой ее стерся в порошок. На столе стояла не убранная после завтрака посуда, повсюду валялся пепел, в блюдце лежало несколько окурков. Газеты, которые я купил в четверг, торчали из мусорного ведра. Сегодня суббота. Выходит, я пропустил — сколько? — почти два дня; за два дня

могло накопиться немало новых улик. Я поискал глазами пластиковый мешок, куда я бросил свою одежду, но не нашел его. Наверное, Чарли отдал его мусорщикам, и теперь он валяется на помойке. Быть может, какой-нибудь нищий копается сейчас в этом мешке. Я задохнулся от ужаса и стал ходить взад-вперед по кухне, сцепив руки, чтобы они не дрожали. Что-то надо делать. Хоть что-нибудь. Я побежал наверх и стал метаться по комнатам, точно безумный король, в своем длинном развевающемся халате. Потом, глядя на себя в маленькое, точно рыбий глаз, зеркальце, побрился, опять надел рубашку и брюки Чарли, открыл его секретер, извлек оттуда наличные и бумажник с кредитными карточками, сбежал, перескакивая через ступеньки, вниз по лестнице и как ошпаренный вылетел на улицу.

И замер. Все было на месте: и лодки в гавани, и шоссе, и белые дома вдоль побережья, и далекий мыс, и облачка на горизонте, однако… однако все это отличалось от того, что ожидал увидеть я; не соответствовало моему внутреннему представлению о том, как должен выглядеть мир. И тут только меня осенило: на месте все, кроме меня самого.

В книжный магазин я вошел с той же судорогой

страха и жжения в груди, как и в прошлый раз. Когда я взял газеты, на руках у меня отпечаталась типографская краска, монетки выскальзывали из потных пальцев. Прыщавая опять исподлобья на меня воззрилась. Взгляд у нее был любопытный и в то же время какой-то вязкий; казалось, она одновременно смотрит и на меня, и мимо меня. «Вот-вот начнутся месячные — отсюда и напряженный взгляд, и возбуждение», — подумал я, повернулся к ней спиной и пробежал газеты глазами. За эти дни мое дело, потеснив историю со взрывом, которая постепенно выдохлась (все, кто должен был умереть, уже умерли), перешло, разрастаясь, словно пятно, на первые полосы. На одной из фотографий я узнал свою машину, похожую на раненого гиппопотама; возле нее стояли двое, флегматичный охранник и детектив в высоких сапогах, который на что-то показывал. В этом же номере поместили интервью с мальчишками, которые и нашли машину. Помнили ли они меня, бледного незнакомца, сидящего в прострации на перроне заброшенной железнодорожной станции? Да, помнили; они меня описали: пожилой, черные волосы, густая борода. Женщина, которая подошла ко мне у светофора, напротив, утверждала, что мне никак не больше двадцати пяти, что

я хорошо одет, что у меня усы и пронзительный взгляд. Высказались обо мне и туристы в Уайтуотере, которые видели, как я уехал с картиной, и, разумеется (как без них!), Рок со своей матушкой, и недоумок в комбинезоне, и жгучая брюнетка из гаража, где я взял напрокат машину. — при этом каждый настаивал на своей версии, отчего в результате я размножился, превратившись в целую банду усатых головорезов, многоликих, вездесущих и страшных, как хор разбойников в итальянской опере. Я чуть не засмеялся. И вместе с тем испытал разочарование. Да, представьте, разочарование. Хотел ли я, чтобы меня поймали? Надеялся ли, что мое имя наберут аршинными буквами на первых страницах газет? Думаю, да. Мне кажется, где-то в глубине души мне очень хотелось предстать перед судом присяжных и выдать им все свои жалкие, маленькие секреты. Да, быть выслеженным, схваченным, избитым, раздетым и брошенным в ревущую толпу было моим самым сильным и сокровенным желанием. Я уже слышу, как в суде недоверчиво хмыкают и вздыхают. Но скажите, разве сами вы, уважаемые господа присяжные, не испытывали того же желания? Чтобы вас поймали с поличным? Чтобы тяжелая рука легла вам на плечо и раздался гро-

мовой голос блюстителя закона: «Ваша песенка спета»? Чтобы с вас, попросту говоря, сорвали маску? Задайте себе этот вопрос. Я ручаюсь (ручаюсь!): дни, предшествовавшие моему аресту, были — и, видимо, останутся — самыми захватывающими в моей жизни. Ужасными, верно, но и захватывающими тоже. Никогда прежде мир не казался мне таким ненадежным, а мое положение в нем таким отчаянно рискованным. Самого себя я ощущал грубо, обнаженно: большая, теплая сырая вещь, завернутая в чужую одежду. В любой момент они могли поймать меня; возможно даже, они следят за мной и сейчас — что-то бубнят в свои рации и делают знаки притаившимся на крыше снайперам. Сначала будет паника, потом — боль. Зато, когда все кончится, когда все достоинство и притворство выветрятся без остатка, какая наступит свобода, какая легкость! Нет, не то я говорю, не легкость, а, наоборот, тяжесть, весомость, уверенность — наконец-то! — в завтрашнем дне. И вот тогда я сделаюсь самим собой, перестану играть роль, которую играл всю жизнь. Я буду настоящим. Я буду самым одушевленным из всех неодушевленных предметов.

Я сел в автобус и поехал в город. Сошел я на той улице, где когда-то, много лет назад, жил студен-

том, и двинулся вдоль ограды парка. Над головой у меня шумели деревья, в лицо дул теплый ветер. Сердце мое томительно сжалось. Посреди тротуара стоял человек в кепке, с жуткими, тусклыми глазами и выкрикивал ругательства вслед проезжавшим мимо машинам. Я ему позавидовал. Я бы тоже с удовольствием стоял вот так и бранился, чтобы излить переполнявшие меня гнев, боль, возмущение. Три смеющиеся девушки в летних платьях выбежали прямо передо мной из книжного магазина; на какое-то мгновение я оказался между ними и оскалился в испуганной ухмылке — чудовище среди граций. В ярко освещенном, недавно открывшемся магазине я купил себе пиджак и брюки, две рубашки, несколько галстуков, нижнее белье и — с вызовом всему миру — красивую, хотя и несколько претенциозную шляпу. Мне показалось, что продавец немного напрягся, когда я достал кредитные карточки Чарли (Господи, неужели они знают его? Неужели он ходит сюда?), но я блеснул своим безукоризненным произношением, лихим росчерком пера поставил ею подпись, и напряжение спало. Меня этот эпизод не особенно встревожил. Я вообще пребывал в приподнятом настроении, веселился, как мальчишка на дне рождения (есть, значит,

что-то такое в магазинах, раз покупки доставляют мне столько удовольствия?). Казалось, я не шел, а плыл по улицам, плыл стоя, как морской конек, разрезая грудью воздух. Вероятно, у меня еще была температура. Люди вокруг выглядели чужими — — то бишь более чужими, чем обычно. Меня не покидало ощущение, что я больше не принадлежу к человеческому роду, будто что-то случилось с тех пор, как я последний раз шел в этой толпе, будто во мне произошла какая-то перемена, крошечный, поразительно быстрый, но весьма существенный эволюционный сдвиг. Я шел среди них, как некое чудо природы. Они отставали от меня, они не смели до меня дотронуться — а может, и не видели меня, может, я был вне поля их зрения? Зато я буквально пожирал их глазами, следил за ними голодным и любопытным взглядом. Они словно бы спотыкались об меня, смотрели прямо перед собой, тупо и испуганно, как беженцы. Я видел себя со стороны: на голову выше их всех — переодетый, одинокий, один на один со своей великой тайной. Я был их непризнанной и безответной мечтой. Я был их зодчим, Моосбруггером ’. Я подошел к реке и долго бродил по мосту среди нищих, торговцев фруктами и дешевыми ювелирными изделиями,

наслаждался тусклым от водяной пыли светом и слизывал соленый воздух с губ. Море! Уплыть бы сейчас подальше, за горизонт, затеряться в этой безбрежной синеве!

Я зашел, — как же все просто! — зашел в бар пропустить стаканчик. Каждый глоток был как металлическая пластинка — прохладный и гладкий. Бар напоминал пещеру, в темноте виднелся белый прямоугольник — открытая дверь на улицу. Такое же заведение могло быть где-нибудь на юге, в одном из тех сырых, увядших портов, где я столько раз бывал. В глубине бара, в освещенной его части, несколько бритоголовых парней в высоких шнурованных ботинках играли в бильярд. Шары глухо стучали, молодые люди вполголоса переругивались. Чем не Хогарт: несколько хирургов без париков сгрудились вокруг прозекторского стола. Бармен, сложив на животе руки и разинув рот, смотрел скачки по телевизору, стоявшему на высокой полке в углу. В бар вошел и остановился возле меня, тяжело дыша и ерзая, какой-то чахоточного вида юнец в короткой черной курточке. По исходящему от него напряжению можно было заключить, что он здорово не в себе, и у меня радостно екнуло сердце. Этот может сделать что угодно, все, что угодно. Но дальше слов

дело у юнца не пошло. «Я прожил здесь тридцать три года, — заявил он с крайним возмущением в голосе, — и все меня боятся». Бармен взглянул на него с выражением приевшегося отвращения и вновь вперился в экран. Синие лошади в мертвой тишине скакали по ярко-зеленому полю. «И я тоже боюсь», — добавил юнец, на этот раз обиженно. Тут по телу его пробежала судорога, он вскинул плечи, опустил голову и выбросил вверх одну руку, как будто кто-то укусил его в шею. Потом повернулся и поспешно вышел, прижимая локтями курточку. Я последовал за ним, оставив рюмку недопитой. Снаружи в лицо мне ударил ослепительный свет. Чахоточный был уже далеко, я увидел, как он незаметно скользит в толпе, прижав локти к бокам и делая быстрые маленькие шажки, — проворный, как танцор. Ничто не могло его остановить. Даже в самой гуще толпы он мгновенно находил лазейку и ловко нырял в нее, не сбавляя скорости. Если б кому-нибудь пришло в голову связать нас воедино, мы бы составили удивительную пару: он — в своей дешевой приталенной курточке, и я — в роскошной широкополой шляпе, с пакетами из дорогого магазина. Угнаться за ним я был не в силах: через несколько минут я уже тяжело дышал

и обливался потом. В то же время я испытывал невероятный душевный подъем. Один раз чахоточный остановился перед витриной магазина. Остановился и я — на автобусной остановке, не теряя его из виду. Взгляд у него был такой напряженный, он так дрожал, что я испугался, как бы он не совершил чего-то ужасного, ведь ему ничего не стоило на кого-нибудь напасть, он мог разбить витрину и растоптать выставленные там фотоаппараты и косметику. Чахоточный, однако, всего лишь пережидал, пока пройдет очередная судорога. В этот раз одновременно с выброшенной вверх рукой дернулась и нога, как будто локоть и колено соединялись между собой невидимой нитью, а секундой позже он громко притопнул об асфальт. Затем быстро огляделся по сторонам — не заметил ли кто-нибудь, после чего, словно бы невзначай, слегка передернулся, давая этим понять, что и предыдущий спазм тоже был случаен, и понесся дальше с той же головокружительной скоростью. Мне хотелось догнать его, поговорить с ним. Вот только о чем? Естественно, я не собирался выражать ему свое сочувствие, я его не жалел, — с моей точки зрения, в нем не было ничего, достойного моей жалости. Нет, не то я говорю, он был трогательным существом,

несчастным калекой и безумцем. И все же я не испытывал сострадания, этого чувства он во мне не вызывал. Я испытывал к нему… как бы это сказать… что-то вроде братского расположения, сильное, проникновенное, радостное чувство общности. Казалось, нет ничего проще, чем подойти сейчас к нему, положить руку на его худенькое плечико и сказать: «Товарищ по несчастью, дорогой друг, compagnon de miseres![7]». А потому, когда на следующем перекрестке я, остановившись, стал искать его глазами и не обнаружил, я испытал самое искреннее и глубокое разочарование. Впрочем, ему почти сразу же нашлась замена: высокая толстая девица с широкими плечами и задом, с большими трубчатыми ногами и крошечными, как передние ноги у свиньи, ступнями, вдетыми в белые туфли на высоких каблуках. Она, как видно, только что побывала в парикмахерской, у нее была модная короткая прическа «под мальчика», которая никак не вязалась с ее исполинскими размерами. На выстриженном толстом затылке оставалась еще злобная краснота от фена — казалось, затылку за нее стыдно. Вид у девицы в этих уродливых неле-

[7] notes: 7
Товарищ по несчастью (франц.)

пых туфлях был мужественный и печальный, и я бы, наверное, неотступно следовал за ней весь день, если бы вскоре не потерял из виду и ее тоже. Моей следующей добычей стал мужчина с огромным малиновым пятном на лице, потом — крошечная женщина, что везла крошечную собачонку в кукольной коляске, потом — решительный молодой человек, который вышагивал с таким выражением, будто он никого вокруг не видит; он шел с застывшим взглядом провидца, размахивая руками и что-то бормоча себе под нос. На оживленной пешеходной улице меня внезапно обступила толпа чумазых, одетых в лохмотья нищенок (моя мать назвала бы таких «розанчиками»): рыжие волосы, веснушки и невероятные, бутылочного цвета глаза. Они набросились на меня с яростной мольбой, дергая за рукав и громко скуля. Казалось, на меня напала целая стая больших диких птиц. Когда же я попробовал отогнать их, одна из них сбила у меня с головы шляпу, а другая ловко выхватила из рук пластиковый пакет, в котором лежал новый пиджак. Затем они убежали, толкая друг друга и визгливо хохоча, — только грубые голые пятки замелькали. Я тоже засмеялся и подобрал с земли шляпу, не обращая внимания на прохожих,

которые, судя по всему, сочли мое веселье неподобающим. Пиджака мне было ничуть не жаль — его потеря каким-то таинственным образом согласовывалась с потерей его списанного за негодностью предшественника, — но мне бы хотелось посмотреть, куда эти девчонки побежали. Я живо представил себе лачугу из ящиков и листов оцинкованного железа на пыльном пустыре, полудохлую собаку, сопливых детей и пьяную каргу, которая что-то помешивает в дымящемся горшке. А может, их поджидает вовсе не старуха, а какой-нибудь Фэджин, что прячется в сумраке ветхого заброшенного здания, где летнее солнце с трудом пробивается сквозь плотно закрытые ставни, где под высокими потолками вьется пыль и где за стенами в непроницаемой тишине скребутся крысы: поскребутся, затихнут и начинают скрестись опять. Так я шел некоторое время, упоенно фантазируя, пока вдруг не обнаружил впереди себя человека гигантского роста, он был бледен как смерть, ковылял на ватных ногах и опирался сразу на две палки. Увидев великана, я устремился за ним, «взяв след», точно охотничья собака.

Что я делал, зачем преследовал всех этих людей, чему я хотел у них научиться? Все это было мне

неизвестно, да и неинтересно… Я был озадачен и счастлив, как ребенок, которому разрешили принять участие в игре взрослых. Я часами метался по улицам и площадям с полубессознательной целеустремленностью пьяного, как будто искал на лице города некий огромный замысловатый знак, чтобы кто-нибудь на небесах смог этот знак прочесть. Я попадал в места, о существовании которых даже не подозревал: в кривые закоулки, на огромные заброшенные пустыри, в тупики под железнодорожными мостами, где на вечернем солнце жарились припаркованные автомобили. Я съел гамбургер в «стекляшке» с пластмассовыми стульями и пепельницами из оловянной фольги — люди там сидели по одному и ели с жадностью перепуганных детей, которых бросили родители. День медленно угасал, оставляя размазанный по небу красный с золотом след; ощущение было такое, будто идешь по дну широкой горящей реки. На улицы высыпал вечерний люд: девицы в брюках в обтяжку и в туфлях на высоких каблуках, мускулистые парни с устрашающими прическами. В горячих, подернутых дымкой сумерках улицы казались шире, плоше, и машины, что проносились мимо, лоснились, точно тюлени. К Чарли я вернулся поздно, со

сбитыми ногами, потный, всклокоченный, в' сдвинутой набекрень шляпе — но с таинственным ощущением исполненного долга. А ночью мне снился отец. Он словно бы впал в детство: худенький мальчик с усами, в матроске, узкое личико чисто вымыто, волосы расчесаны на пробор. Его вела за руку высокая темноглазая дама в хитоне, с миртовым венцом на голове. Ко мне она повернулась с похотливой снисходительной улыбкой.

Я потрясен. Сегодня мой адвокат сообщил мне сногсшибательную новость. Обычно наши беседы доставляют мне удовольствие, хотя и довольно мрачного свойства. Сидим мы, как правило, за квадратным столом в маленькой, душной комнатке без окон. Стены в комнате мышиного цвета, такого же, как и ящики с картотекой. Свет из неоновой трубки под потолком обволакивает нас прозрачной пеленой. Сама трубка издает слабое, но непрерывное гудение. Поначалу господин адвокат полон энергии. Он роется в портфеле, шуршит бумагами, что-то бормочет. Он похож на большого встревоженного медведя. Он старательно подбирает темы для разговора: новые аспекты дела, неоднозначная трактовка некоторых законов, чем мы могли бы

воспользоваться, шансы получить хорошего судью и прочее в том же духе. Говорит он слишком быстро, спотыкаясь на каждом слове, точно это не слова, а камни. Со временем, однако, гнетущая атмосфера действует и на него, и он замолкает. Он снимает очки, откидывается на стуле и молча смотрит на меня. У него на редкость трогательная привычка сжимать переносицу указательным и большим пальцами. Мне его жалко. Мне кажется, он ко мне искренне расположен, и это, думаю, не только удивляет, но тревожит его самого. Он всерьез полагает, что не оправдывает моих ожиданий, когда вот так выдыхается и замолкает, но ведь сказать-то ему действительно нечего. Мы оба знаем, что «вышка» мне не грозит. Он не понимает, почему я равнодушен к своей участи. Я говорю ему, что стал буддистом. Он осторожно улыбается — а вдруг я не шучу? Я развлекаю его историями из тюремного быта, многих — для пущей выразительности — изображаю; начальник тюрьмы, к примеру, выходит у меня совсем неплохо. Смеется его честь совершенно беззвучно, о смехе свидетельствуют лишь приподнятые плечи да широко раскрытый рот.

Кстати, хорошее словечко «вышка». Емкое.

Сегодня я сразу же заметил, что он чем-то

взволнован. Он непрерывно теребил воротничок рубашки, кашлял, снимал и снова надевал очки. Взгляд у него был какой-то рассеянный. Он что-то бубнил о смысле правосудия, об осмотрительности судей и прочих пустяках, вдаваться в которые мне не хотелось. Ему было настолько не по себе, он так ерзал на неудобном, узком для его огромного зада тюремном стуле и так прятал глаза, что я с трудом сдерживал смех. Впрочем, я навострил уши, когда он начал что-то бормотать о том, что, дескать, стоило бы сделать «признательные показания», — и это после того, как он потратил столько времени и сил, уговаривая меня ни в коем случае не признавать себя виновным. Когда же я указал ему — и довольно резко — на это несоответствие, он тут же пошел на понятный, испуганно шаря глазами по сторонам. Интересно, к чему он клонит? Надо бы насесть на него и все выспросить. Он же, чтобы отвлечь мое внимание, нырнул в свой необъятный портфель и выудил оттуда копию материнского завещания. Тогда я еще не знал, чем кончилось дело, и проявил, как нетрудно догадаться, живейшую заинтересованность. Его честь, я это сразу заметил, и в этом случае испытывал не меньшую неловкость. Он долго кашлял, хмурился, читал второстепенные

пункты завещания (акты дарения, обязательства правонаследников, завещательный отказ малой недвижимости) — и только потом перешел к делу. Я до сих пор не могу поверить своим ушам. Старая стерва завещала Кулгрейндж этой рыжей девице… как ее? — Джоанне. Какая-то сумма завещалась Дафне, какая-то — на обучение Вэна, мне же мать не оставляла ничего, ровным счетом ничего. Удивляться тут, в сущности, было нечему, однако я все-таки удивился. Да, меня хорошим сыном не назовешь, но ведь другого у нее не было. Его честь наблюдал за мной с состраданием. «Я вам сочувствую», — сказал он. Я улыбнулся и пожал плечами, хотя сделать это было нелегко. Мне хотелось, чтобы он ушел. «Что ж, — выдавил я из себя, — в конце концов, можно понять, почему она переписала завещание». Он ничего не ответил. Наступила какая-то странная тишина. А затем он, чуть ли не с нежностью, вручил мне документ, и я взглянул на дату. Завещание было написано семь, без малого восемь лет назад. Мать, стало быть, лишила меня наследства очень давно, задолго до того, как я вернулся, чтобы ее опозорить, ее и весь свой род. И тут мне с жуткой ясностью вспомнилось, каким взглядом она смерила меня тогда, на кухне в Кулгрейндже. Я

вновь явственно услышал ее кудахтающий смех. Что ж, я рад, что ей понравилась собственная шутка. Шутка получилась и впрямь хоть куда. Удивительно, но я не держу против нее зла. Я улыбаюсь, хотя, очень может быть, улыбка моя больше походит на гримасу. Мать внесла свою лепту в длинный перечень уроков, которые мне еще предстоит извлечь.

Его честь встал и, как всегда, расплылся в нежнейшей улыбке, пытаясь скрыть облегчение, которое он испытывает перед уходом. Я смотрел, как он с трудом влезает в свою синюю куртку, накидывает на шею красный шерстяной шарф. Иногда, когда он только приходит, от его одежды исходит едва заметный, неуловимый запах улицы, и я вдыхаю этот запах с таким неизъяснимым наслаждением, будто это самые дорогие духи на свете. «Как там?» — спросил я его в этот раз. Он ничего не ответил и покосился на меня с некоторым беспокойством — вероятно решив, что меня интересует картина в целом, а не только погода; что я забыл, как выглядит мир. «Какая погода?» — пояснил я. «Ах, погода! — Лицо его прояснилось. Он пожал плечами. — Ничего хорошего — серо, уныло». И я тут же представил себе клонящийся к вечеру ноябрьский день, тусклый

блеск мокрого асфальта, дети, разрозненными группами бредущие из школы, грачи, что, кругами взмывая вверх и падая вниз, носятся в рваных облаках, и тусклое золотое небо на фоне голых, почерневших веток. Как я любил эту пору, когда погода особенно строптива и непредсказуема, когда природа живет своей жизнью, как будто никто ее не замечает, никому нет до нее дела. Вижу себя мальчишкой; я бесцельно бреду по мокрой дороге, толкаю перед собой камешек и строю далеко идущие планы. Помню, через дубовую рощу в миле от дома проходила тропинка, по которой, если идти по ней до конца, можно было добраться до Кулгрейнджа. Какие же зеленые там были тени, как незаметно вилась в траве тропинка, какой тревожной казалась тишина вокруг! И всякий раз, выходя из автобуса, я говорил себе: «В следующий раз, уж в следующий раз обязательно!» Но в следующий раз я либо спешил, либо уже смеркалось, либо просто не хотелось идти другой дорогой — и я выбирал привычный маршрут, пока наконец и вовсе не перестал пользоваться потайной тропой. Теперь же упущенного не вернешь.

Чтобы отвлечься, я произвожу в уме расчеты и прихожу к неожиданному выводу, что в доме

Чарли я провел, оказывается, никак не больше десяти дней: с того памятного летнего дня (а вернее, ночи) до последнего, не менее памятного, дня в июне. Десять, правильно? По тридцать ведь дней в сентябре, апреле, июне — да, значит, десять. Или девять. Во всяком случае, девять ночей. Но когда, спрашивается, кончается день и начинается ночь, и наоборот? И почему, собственно, ночи считать легче, чем дни? Нет, такая арифметика мне всегда тяжело давалась. Чем проще цифры, тем чаще я сбиваюсь со счета. Как бы то ни было, у Чарли Френча, чье гостеприимство и доброту я вовсе не ставлю под сомнение, я прожил примерно десять дней, хотя кажется, что времени прошло гораздо больше. Ощущение такое, будто я жил у него не десять дней, а десять недель. У него мне было не так уж плохо — во всяком случае, не хуже, чем в любом другом месте. А впрочем, что значит «плохо»? Непонятное слово. Со временем тревога моя росла. У меня совершенно расшатались нервы, постоянно ныли кишки. Я испытывал внезапные, яростные приступы нетерпения. Почему они за мной не приходят, что они себе думают?! Особенно раздражало меня молчание Беренсов, я был убежден, что они затеяли со мной какую-то коварную игру. Однако за всеми

этими волнениями неизменно скрывалось тупое, пресное чувство. Я испытывал разочарование. Я был обескуражен. Я-то ожидал, что чудовищное преступление, которое я совершил, уж во всяком случае, внесет в мою жизнь перемены, что в результате начнет хоть что-то происходить, что потянется череда самых невероятных событий: поиски, страхи, бегство, засада, погони. Не знаю, как я пережил это время. Каждое утро я просыпался словно бы от толчка — казалось, на лоб мне падала капля чистой, дистиллированной боли. Этот большой старый дом с его запахами и паутиной действовал на меня угнетающе. Я, естественно, много пил, но не настолько много, чтобы забыться. Видит Бог, я всеми силами к этому стремился, я вливал в себя столько спиртного, что немели губы, не сгибались колени, — но ничего не выходило: убежать от самого себя я не мог. С томительным нетерпением влюбленного я ждал вечера, когда можно будет надеть шляпу и новую одежду — очередная маска! — и осторожно выбраться из дому: чем не трепещущий доктор Джекил (Аллюзия на повесть Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), фантастическую притчу о добром и злом началах, сосуществующих в человеке.), в

котором, в предвкушении нового опыта, нетерпеливо ерзает и горячится совсем другое, ужасное существо. Мне казалось, что только теперь я впервые увидел окружающий мир таким, какой он есть: людей, дома, вещи. Каким же невинным выглядело все это, невинным и обреченным. Как мне передать тот спутанный клубок чувств, что я испытывал, когда метался по улицам города, предоставив своему ледяному сердцу насыщаться зрелищами и звуками будничной жизни? Как, например, передать то ощущение власти, которое я ощущал?! Ощущение это возникло не из-за того, что я сделал, а из-за того, что о сделанном никто ничего не знал. Тайна, именно тайна — вот что ставило меня выше тех унылых особей, среди которых я передвигался, когда угасал день, когда зажигались фонари и скользили домой машины, оставлявшие за собой голубую дымку, что повисала в сумерках, точно пороховой дым. А еще было непрерывное горячечное возбуждение, нечто вроде лихорадки — с одной стороны, меня преследовал страх, что меня изобличат, а с другой — не покидало желание, чтобы это поскорее произошло. Я знал, что где-то в пропахших табаком, невзрачных кабинетах какие-то безликие люди даже сейчас, поздно вечером, кропотливо

собирают против меня улики. Я думал о них ночью, лежа на большой, громоздкой кровати матушки Френч. Странно было сознавать, что ты являешься объектом столь пристального внимания, странно и даже по-своему приятно. Это представляется вам противоестественным? Но ведь я находился теперь совсем в другой стране, где старые правила неприменимы.

Спал я, разумеется плохо. Думаю, заснуть я не мог оттого, что боялся снов. В лучшем случае я забывался на час-другой перед самым рассветом и просыпался изможденный, с болью в груди и с воспаленными глазами. Мучился бессонницей и Чарли: в любое время ночи до меня доносился скрип ступенек, позвякиванье чайника на кухне и вымученное, прерывистое журчанье, доносившееся из уборной, где он опорожнял свой стариковский мочевой пузырь. Виделись мы редко. Дом был достаточно большим, чтобы не ощущать присутствия друг друга. С той первой пьяной ночи он стал меня избегать. Друзей у него, судя по всему, не было. Телефон молчал, в гости к нему никто не приходил. Вот почему я очень удивился и даже перепугался, когда, вернувшись как-то вечером раньше обычного после своих каждодневных городских блужданий, обнару-

жил на шоссе перед домом три больших черных лимузина, а у стены гавани — охранника в форме, а также двух подозрительных типов в куртках на молнии. Как и подобает добропорядочному гражданину, вернувшемуся с прогулки в конце дня, я степенно (несмотря на сильное сердцебиение и мгновенно вспотевшие ладони) прошествовал мимо, а затем нырнул за угол и прокрался к дому со стороны конюшен. Пробираясь через заросший сад, я поскользнулся, упал и ободрал левую руку об одичавший розовый куст. Я спрятался в высокой траве и прислушался. Пахло глиной, листьями и кровью, которая выступила на моей пораненной руке. Желтый свет в кухонном окне окрасил опустившиеся сумерки в нежно-голубой цвет. Внутри, у плиты, стояла неизвестная мне женщина в белом фартуке. Когда я открыл заднюю дверь, она резко повернулась и тихонько вскрикнула: «Господи помилуй, кто вы такой?!» Это была пожилая особа в крашенном хной парике, с плохо пригнанными искусственными челюстями и рассеянным видом. Звали ее, как вскоре выяснится, Мэдж. «Они все наверху», — сказала она и опять повернулась к плите, потеряв ко мне интерес.

Вместе с Чарли я насчитал шесть человек,

хотя в первый момент мне показалось, что их было вдвое больше. Собрались они в большой мрачной гостиной на первом этаже; стоя у окна с выпивкой в руках, они раскачивались и кивали головами, точно нервные аисты, и тараторили с такой скоростью, будто от этого зависела их жизнь. За окнами в гавани мерцали огни, а в далеком небе огромная свинцовая туча опускалась, точно крышка, над последними тлеющими угольками заката. При моем появлении разговор стих. Среди гостей была только одна женщина, высокая, худая, с огненно-рыжими волосами и запоминающимся белым как бумага лицом. Чарли, стоявший ко мне спиной, увидел мое отражение в скошенных глазах гостей и повернулся с усталой улыбкой. «А, — сказал он, — это ты… „ Его разметавшиеся седые волосы отливали сталью. Он был в галстуке-“бабочке». «Мог бы, между прочим, и предупредить!» — услышал я свой собственный звенящий от бешенства голос. У меня дрожали руки. В комнате повисло было неловкое молчание, но вскоре разговор возобновился. Женщина продолжала молча смотреть на меня. Из-за бледной кожи, ярких волос и длинной нежной шеи вид у нее был перепуганный, как будто давным-давно ей поведали какую-то страшную тайну, с которой

она так и не смогла свыкнуться. Бормоча что-то извиняющимся голосом, Чарли подхватил меня под локоть своей дрожащей старческой рукой и мягко, но решительно стал подталкивать к дверям. Страх, который я испытывал совсем недавно, постепенно сменился раздражением. Очень хотелось стукнуть его хорошенько или же вырвать клок волос из его преторианской шевелюры. «Скажи Мэдж, — говорил он, — скажи Мэдж, чтобы она тебя накормила, а я скоро спущусь». Чарли так волновался, что казалось — вот-вот расплачется. Он стоял на верхней ступеньке и следил, как я спускаюсь вниз, будто боялся, что, стоит ему отвести глаза, как я подымусь опять, и только когда я благополучно достиг последней ступеньки и направился на кухню, он вернулся к гостям.

В кухне нечем было дышать, и у Мэдж, стоявшей в клубах пара у плиты в сбившемся набок парике, вид был еще более разгоряченный и встрепанный, чем несколько минут назад. «Ну и кухня! — с досадой проговорила она. — Наказанье божье!» Она была, по ее собственному колоритному замечанию, «приходящей женщиной мистера Френча», которая приглашалась, когда «устраивали званые обеды». Я заинтересовался.

Вот уж действительно званые обеды! Я помог ей: откупорил несколько бутылок вина и, взяв одну бутылку себе, сел за кухонный стол. В бутылке оставалось меньше половины, когда во входную дверь громко постучали, и сердце мое опять тревожно забилось. Я вышел в прихожую, но Чарли уже трусил вниз по лестнице. Когда он открыл дверь, я сначала увидел тех двоих, в куртках на молнии, а потом упитанного мужчину и высокую холеную женщину, царственной походкой входивших в дом. «А, Макс», — сказал Чарли и с неуклюжей поспешностью шагнул мужчине навстречу. На женщину он внимания не обратил. Макс небрежно пожал ему руку, а затем провел ладонью по своему низкому тяжелому лбу. «Господи, далеко же тебя занесло! — воскликнул он. — Я уж думал, мы никогда не доедем». Они двинулись к лестнице, Чарли и Макс впереди, женщина сзади. На ней было уродливое синее платье «в пол», на шее жемчужное ожерелье в три ряда. Она огляделась по сторонам, встретилась со мной глазами и смотрела на меня до тех пор, пока я не отвернулся. Тут из кухни вышла Мэдж. «Явился пройдоха со своей раскрасавицей», — шепнула она мне в плечо.

Я подождал, пока они подымутся наверх, а

когда Мэдж вернулась на кухню, последовал за ними и вновь проскользнул в гостиную. Чарли, Макс и миссис Макс стояли у окна и любовались вечерним пейзажем, а остальные гости раскачивались и кудахтали, изо всех сил стараясь в их сторону не смотреть. Я схватил с камина несколько бутылок и стал бегать по комнате, обслуживая собравшихся. У мужчин был вымытый, напряженный, немного взволнованный вид, какой бывает у старшеклассников, когда они первый раз отправляются на пикник без взрослых. Исключение составлял старик с носом цвета апельсина-королька и пятнами по всему жилету; он стоял в стороне — подавленный, с остекленевшим взглядом. Все остальные внимательно смотрели сквозь меня, а этот, стоило мне подойти поближе, сразу же оживился. «Так как ты думаешь, — громко сказал он, — победим мы или нет?» Я понял, что вопрос этот риторический. «Обязательно», — решительно ответил я и подмигнул ему. Он поднял брови и сделал шаг назад — в глазах его читалось сомнение. «Черт его знает, — буркнул он. — Не поручусь». Я пожал плечами и вежливо отошел в сторону. Чарли увидел меня, и на лице у него застыла напряженная улыбка. «Я пила водку», — холодно сказала мне

миссис Макс, когда я предложил ей джину. Мое внимание привлек ее муж. У него было такое грубое, такое обветренное лицо, как будто он долгое время жил в гораздо более суровом климате, чем все присутствовавшие. Его движения, манера держаться, медленно, вдумчиво поворачивать голову или подносить руку ко лбу — все это носило на себе печать исключительности и одновременно театральной выверенноети. Голос у него был тягучий и гортанный, в его отрывистой речи было что-то властное, неуловимо притягательное. Это был голос человека, который упрямо идет вперед, устраняя все препятствия на своем пути. Я представил себе, как он рассеянно топчет все, что попадает ему под ноги: цветы, улиток, врагов. «Признавайся, Чарли, — говорил он, — ты все тот же: купить подешевле, продать подороже, а?» Чарли покраснел и незаметно взглянул на меня. «Вот именно, — подхватила миссис Макс, — назло всем». Она говорила громким ровным голосом, глядя куда-то мимо мужа. Казалось, свои замечания она отпускает в расчете на ироничного собеседника, что незримо стоит за ее спиной и слушает. Впрочем, и Макс тоже на нее не смотрел, словно ее голос ей не принадлежал. Он хрипло рассмеялся. «Ну что, раздобыл ты мне эту гол-

ландскую мазню?» Чарли молча покачал головой и тоскливо улыбнулся. У него начало подрагивать левое веко, как будто внезапно ожила залетевшая туда муха. Я предложил ему виски, но он быстро прикрыл бокал ладонью. Отмахнулся от меня и Макс. Сзади ко мне подошла женщина с ярко-рыжими волосами. «Вы поцарапали руку», сказала она, и несколько секунд мы все, Макс со своей дамой, Чарли, рыжеволосая и я, молча смотрели на мои вздувшиеся пальцы. «Да, — сказал я, — упал на розовый куст». И засмеялся. Полбутылки вина, которые я выпил, сидя на кухне, ударили мне в голову. Чарли украдкой переминался с ноги на ногу, боясь, по-видимому, что я сейчас совершу нечто непотребное. Только теперь я понял, как он меня боялся. Бедняга Чарли. По черной как чернила воде бесшумно скользила освещенная яхта. «Отличный вид», — без тени улыбки проговорил Макс.

В столовой сова взирала на гостей из-под своего стеклянного колпака с изумлением и некоторой тревогой. К этому времени Пэтч, то бишь Мэдж, окончательно сбилась с ног, и я помогал ей носить приборы и блюда, с лихой небрежностью официанта расставляя еду на столе. Должен признаться, я получал удовольствие. Я веселился,

точно ребенок, попавший на костюмированный бал. Я двигался, будто во сне; уж не знаю, как это получилось, но в течение двух часов, изображая из себя слугу Чарли, я избавился и от себя самого, и от тех ужасов, что уже много дней меня преследовали. Я даже придумал себе роль, выработал… как бы сказать… определенный стиль поведения, который не был моим, но который — так мне тогда казалось — был не менее естественным или, во всяком случае, не менее правдоподобным, чем мое истинное «я». (Мое истинное «я»!) Я перевоплотился во Фредерика Незаменимого, верного слугу мистера Френча, без которого этот сварливый богатый старый холостяк не прожил бы и дня. Он протянул мне руку помощи, когда я, совсем еще мальчишкой, работал официантом в какой-то вонючей дыре, — и вот теперь был предан ему душой и телом, готов ради него на все. Разумеется, и я бывал с ним резок, в особенности когда он приглашал гостей. (Ревность? Его знакомые не раз подымали эту тему, но нет, решили они, этим Чарли не грешит: «Вы же помните провинциалку с лошадиным лицом, тайную любовь всей его жизни?») Мы и в самом деле были как отец и сын, вот только сын был чересчур упрям, а отец излишне мягкотел. Иногда трудно было

сказать, кто из нас хозяин, а кто слуга. В тот вечер, например, когда ужин подходил к концу, я уселся за стол вместе с гостями и наполнил свой бокал — как будто это было в порядке вещей. Наступила тишина, Чарли нахмурился и стал гонять по скатерти хлебные шарики, Макс со злобным видом уставился в окно на огни гавани, а его телохранители, сидевшие по обе стороны от него, напряглись и нервно переглянулись. Некоторое время я сидел неподвижно, но затем встал, взял свой бокал и со словами: «Ну-с, нам, дамам, пожалуй, лучше уйти» — бросился вон из комнаты. В прихожей я, естественно, прислонился к стене и расхохотался, однако руки у меня дрожали. Страх сцены — не иначе. Ах, какой бы из меня вышел актер!

Что бы такое сделать?

Я пошел наверх, в гостиную. Нет, я пошел на кухню. Опять Мэдж: парик, вставные зубы, белый фартук — все это мы уже видели. Я выбежал из кухни и в прихожей обнаружил рыжеволосую — Рыжика. Она как раз выходила из столовой. Под лестницей было темно, там мы и встретились. Я с трудом различал во мраке ее лицо, она не сводила с меня глаз — серьезных, испуганных. «Почему вы такая грустная?» — спросил я и увидел, что она

не знает, куда девать руки; потом она спрятала их за спину, согнула ногу в коленке и стала, точно кокетничающая школьница, вертеть плечами и бедрами. «С чего вы взяли, что я грустная? — отозвалась она. — Никакая я не грустная». Казалось, она вот-вот заплачет. Неужели она разглядела во мне ужас и стыд, неужели это сразу бросилось ей в глаза? А ведь она искала встречи со мной, я это знал. Я вытянул руку, толкнул дверь у нее за спиной, и мы неожиданно очутились в совершенно пустой комнате. В комнате стоял сухой луковый запах, такой же, как в Кулгрейндже, на чердаке. У стены, точно разбитое зеркало, примостился параллелограмм лунного света. Я по-прежнему держал в руке эти проклятые тарелки. Я поставил их на пол у наших ног и, не успел еще разогнуться, когда она, коснувшись моего плеча, сказала что-то неразборчивое. Потом тихо, удивленно засмеялась, как будто сама не ожидала услышать звук собственного голоса. «Не важно, — сказала она. — Не важно». Она дрожала в моих объятиях. Спустя мгновение от нее остались одни зубы, дыхание, судорожное пожатие пальцев. Мою голову она стиснула с такой силой, словно хотела раздавить ее. Она сбросила туфли, и, падая, они гулко застучали по голым доскам. Она уперлась

приподнятой ногой в закрытую дверь у себя за спиной и качнулась назад, упираясь все сильней и сильней. Бедра у нее были холодные. Она рыдала, слезы падали мне на руки. Я кусал ее в горло. Мы были похожи… не знаю… мы были похожи на двух гонцов, что, встретившись в темноте, обменялись страшными вестями. «Господи, — выдохнула она, — Господи…» — и уронила голову мне на плечо. Наши руки сплелись. Комната возникла вновь: лунный свет, запах лука. И только одна мысль: ее белое лицо, ее волосы. «Прости меня», — сказал я. И почему-то засмеялся. Впрочем, смехом это назвать было трудно.

Как мирно проходят теперь дни, здесь, на излете года. Сидя в этой глухой серой комнате, я иногда воображаю, что я абсолютно один, что кругом на многие мили нет ни одной живой души. Это все равно что находиться в трюме огромного серого корабля. Воздух тяжел и недвижен, давит мне на уши, на глаза, на виски. Наконец-то объявлен день суда. Я понимаю, что это событие должно было бы, по идее, меня мобилизовать, вызвать возбуждение или страх — но нет, ничего этого не происходит. Что-то случилось у меня с чувством времени, теперь я мыслю исключительно в категориях вечности. Теперь дни, недели этой

пошлой судебной мелодрамы представляются мне не более чем булавочным уколом. Я стал вечным узником.

Сегодня его честь опять заговорил о том, как мне построить свое выступление в суде. Некоторое время я его не перебивал, но затем слушать его пустую болтовню надоело, и я сказал, что откажусь от его услуг, если он не будет говорить прямо, без обиняков. С моей стороны это было чистейшим лицемерием, ибо я после последнего его визита окончательно уяснил: он намекает на то, что возможна какая-то договоренность; из разговоров, которые ведутся здесь, я давно уже понял, что в большинстве случаев защите и обвинению удается договориться. «И чего же хочет от меня суд?» — поинтересовался я. По тому, как бедняга начал потеть и суетиться, я вроде бы понял, на что он намекает: ну конечно же, они пытаются спасти репутацию Чарли! (Кто бы мог подумать, что их волнует Чарли или его репутация?) Я, естественно, готов был сделать для Чарли все, что только можно, хотя об этом, по-моему, думать надо было раньше. «Ладно, дружище, — сказал я, подняв руку, — я признаю себя виновным — и что дальше?» Он пристально посмотрел на меня поверх очков. «А дальше, как говорится, на нет

и суда нет», — сказал он, и я, хоть и не сразу, понял смысл его каламбура. Его честь печально усмехнулся. Он подразумевал, что на первом же заседании я отведу все обвинения в том виде, в каком они мне предъявлены, признаю себя виновным в убийстве, судья быстренько сведет процедурные вопросы до минимума (я же пошел ему навстречу!), объявит приговор, и на этом все кончится, дело будет объявлено закрытым. Ничего гарантировать он, конечно, не может, но считает своим долгом выработать самую выгодную для клиента линию поведения — в рамках закона, понятное дело. Когда его честь начинает рассуждать таким образом, он совершенно неотразим. «И чего же мы этим добьемся? В чем, собственно, тут хитрость?» — недоумеваю я. Он пожимает плечами. Хитрость в том, что суд не станет заслушивать показания свидетелей. Только и всего. Последовала пауза. «И это его спасет?» — спросил я. Он озадаченно нахмурился, и тут только я сообразил, что был не прав, что вовсе не в Чарли дело. Я засмеялся. Я уже, кажется, говорил, что иногда наивность моя поистине безгранична. Его честь покосился на дверь (да, да, именно так и было) и шепнул заговорщически, навалившись в целях конспирации на стол: «Ваш

Чарли Френч никого не волнует. Не в нем дело».

Ваша честь, мне это не нравится, мне это совсем не нравится. Разумеется, я признаю себя виновным (разве я не признавал себя виновным с самого начала?), но меня не устраивает, что я не буду давать показаний; меня это совершенно не устраивает. Это несправедливо. Даже такой мерзавец, как я, должен иметь возможность выговориться. Я не раз представлял себе, как занимаю место для дачи свидетельских показаний, как спокойно, с достоинством держусь, как неброско (газетчики любят это слово) одет. А потом голосом, не терпящим возражений, излагаю свою версию случившегося. И вот теперь меня лишают моего звездного часа (уверен, последнего в жизни). Нет, это несправедливо.

Как ни странно, тот вечер у Чарли Френча я припоминаю с трудом. То есть сам-то вечер я помню, а вот люди запечатлелись в памяти неясно, расплывчато. Я гораздо яснее вижу огни на воде, узкую полоску заката, наплывающую свинцовую тучу, чем лица всех этих трогательных взрослых мальчиков. Даже от Макса Молиньюкса сохранились в памяти лишь дорогой костюм и какая-то напыщенная грубость. Да и что мне до него и до ему подобных, черт возьми! Пусть себе берегут

свою репутацию, мне на это наплевать; распускать же сплетни я не намерен! Весь вечер прошел точно в тумане — как, впрочем, и многое за те десять дней. Господи, даже бедная Рыжик была в моем безумном состоянии не более реальной, чем пьяное сновидение. Нет, постойте, эти слова я беру назад. Пусть утробно хихикают сколько хотят, но заявляю с полной ответственностью: ее я помню отчетливо, с нежностью и состраданием. Ведь она была и, скорее всего, навсегда останется последней женщиной, с которой я занимался любовью. Любовью? И это можно назвать любовью? А что же это? Ведь она мне доверилась. Она ощущала запах крови и ужаса, но не отшатнулась, а раскрылась, подобно цветку, и дала мне возможность на мгновение перевести дух среди ее лепестков, обменяться с дрожью в сердце нашей бессловесной тайной — Да, я помню ее. Я падал, а она подхватила меня, моя Гретхен.

Кстати, звали ее Мэриан. А впрочем, какая разница.

Гости засиделись допоздна, только миссис Макс уехала сразу после ужина. Я видел, как ее увозили: она очень прямо восседала на заднем сиденье одного из черных лимузинов — изможденная Нефертити. Проводив ее, Макс с друзьями вновь

поднялись наверх и пьянствовали до самого рассвета. А я всю ночь просидел на кухне, играя с Мэдж в карты. Где была Мэриан? Не знаю — я ведь, как обычно, надрался. Как бы то ни было, счастье наше было уже позади, и, встреться мы той же ночью снова, ничего, кроме неловкости, не возникло бы. И все же я ходил, по-моему, ее искать: карабкался по лестнице, бродил по темным спальням, на что-то натыкался, падал… Еще запомнилось почему-то, как я стою у широко открытого окна, очень высоко, и слушаю музыку, таинственные звуки колоколов и труб, которые постепенно стихали, растворялись в воздухе, словно в ночь уходила какая-то шумная процессия. В действительности музыка, видимо, играла на танцплощадке или в ночном клубе, в гавани. Я же до сих пор воспринимаю ее как шум покидающего меня Бога и его свиты.

На следующий день погода переменилась. Поздним утром, когда я и мое похмелье продрали глаза, солнце еще жарило так же весело и безжалостно, как и всю неделю, а разбросанные по побережью дома плавали в бледно-голубой дымке. Так что издали казалось, будто на небе изображены какие-то таинственные геометрические фигуры. Я стоял у окна в одних трусах,

чесался и зевал. В тот момент я поймал себя на мысли, что почти уже привык к этому странному образу жизни. Я словно бы свыкся с болезнью, перестал бояться, как боялся в первые дни, озноба и высокой температуры. Звонил церковный колокол. Воскресенье. Любители прогулок фланировали вдоль моря со своими собаками и детьми. Через дорогу, у стены гавани, заложив руки за спину и неподвижно глядя на воду, стоял какой-то мужчина в плаще. Снизу доносились голоса. Мэдж была на кухне — мыла посуду после гостей. Она с любопытством посмотрела на меня. Я был в халате Чарли. Как же получилось, что я не обратил внимания на появившуюся в ее голосе рассудительность? Тон этот должен был меня насторожить. В то утро ей помогала племянница, невзрачная девочка лет двенадцати, у которой было… А впрочем, какая разница, что у нее там было, как она выглядела? Всех этих свидетелей теперь все равно не вызовут. Я сидел за столом, пил чай и смотрел, как они трудятся. Чувствовалось, что девочка меня побаивается. «А мистер Френч ушел, — сказала Мэдж; руки у нее были в мыльной пене. — Я с ним в дверях столкнулась». В ее тоне сквозил упрек, как будто Чарли убежал из дому из-за меня. А ведь так оно, собственно,

и было.

К обеду на горизонте выросла огромная туча — серая, шероховатая, точно накипь, и море, черно-синее, с белыми прожилками, заволновалось. С востока приближалась колышущаяся дождевая завеса. Человек, стоявший у стены гавани, застегнул плащ. Воскресная толпа гуляющих давно разошлась. Но он — он оставался стоять, как стоял.

Ну вот и дождался. Как странно: я-то думал, что испытаю ужас, впаду в панику, что я покроюсь холодным потом или меня проберет дрожь, — но ничего этого не было и в помине. Наоборот, меня охватила какая-то немыслимая эйфория. Я расхаживал по дому, словно пьяный капитан — по палубе попавшего в шторм корабля. Какие только безумные мысли не приходили мне в голову! Надо забаррикадировать стены и окна. Надо взять в заложницы Мэдж и ее племянницу и обменять их на вертолет. Надо дождаться возвращения Чарли и выбраться из дому, прикрываясь им, как щитом, и приставив к его горлу нож, — с этой целью я даже спустился на кухню поискать подходящее лезвие. Мэдж кончила мыть посуду и, налив себе чаю, села за стол и развернула воскресную газету. Когда я стал рыться в ящике с ножами и вилками,

она бросила на меня подозрительный взгляд и, помолчав, спросила, буду ли я обедать один или дождусь мистера Френча. Я громко рассмеялся. Обедать! Засмеялась — пискливо, как попугай, обнажив белесую, блестящую десну, — и племянница. Стоило мне посмотреть на нее, как она мгновенно захлопнула рот — будто занавес упал. «Джасинт, — резко сказала ей Мэдж, — ступай-ка домой». — «Не двигаться!» — закричал я. Они обе вздрогнули, у Джасинт задрожал подбородок, глаза ее наполнились слезами. Я перестал искать нож, снова помчался наверх и приник к окну. Человека в плаще не было. Я вздохнул с таким невероятным облегчением, точно все это время старался не дышать полной грудью. По стеклу бежали ручейки дождя, крупные капли плясали на асфальте и на поверхности воды, отчего издали казалось, будто море закипает. Я услышал, как открылась и хлопнула входная дверь, и под окном возникли Мэдж с племянницей — они бросились бежать через улицу, натянув куртки на голову. Почему-то было ужасно смешно смотреть, как девочка перепрыгивает через лужи, а Мэдж трусит следом. И тут я заметил машину, она стояла чуть поодаль, на противоположной стороне. Через лобовое стекло, по которому струились дождевые

потоки, можно было различить две крупные неподвижные фигуры на переднем сиденье.

Я сидел на стуле в гостиной, уставившись в одну точку, вцепившись в подлокотники и сдвинув колени. Не знаю, сколько времени я так просидел в этом тускло освещенном, сером пространстве. У меня, во всяком случае, создалось впечатление, что прошло несколько часов, чего, разумеется, быть не могло. После вчерашнего в комнате пахло спиртными парами и табаком. Шум дождя за окном убаюкивал. Я впал в своего рода транс, в забытье. Мне привиделось, как я, еще мальчишкой, поднимаюсь по поросшему лесом склону горы неподалеку от Кулгрейнджа. Был март, один из тех ветреных голландских дней, когда по голубому, точно фарфоровому, небу несутся наперегонки пепельного цвета облака. Деревья надо мной качаются и стонут от ветра. Вдруг раздается оглушительный треск, в глазах у меня темнеет, и рядом со мной обрушивается нечто, похожее на крыло громадной птицы. Это упала ветка. Меня она не задела, однако идти дальше я не мог — остановился как вкопанный, оцепенев от страха. Ужаснули меня тяжесть и скорость падающего предмета. Я испытал даже не страх, а глубокое потрясение от того, как же

мало я значу. С тем же успехом я мог бы быть трещиной в воздухе. Земля, ветка, ветер, небо, мир были точными и необходимыми координатами происшедшего. Только я один был не на месте, только моя роль сводилась к нулю. И природе я был безразличен. Если б меня убило веткой и я бы лежал, уткнувшись лицом в опавшие листья, день шел бы своим чередом, как будто ничего не произошло. То, что могло произойти, не имело бы значения — по крайней мере, большого значения. Да, кому-то я мог бы причинить неприятности. Каким-то живым существам пришлось бы из-под меня выбираться. Какой-нибудь неприкаянный муравей, возможно, заблудился бы в окровавленной раковине моего уха. Но свет оставался бы таким же, и ветер дул бы точно так же, как раньше, и стрела времени не задержалась бы ни на секунду в своем полете. Я был ошарашен. Это мгновение запомнилось мне навсегда. И вот теперь на меня должна упасть еще одна ветка, я слышал тот же треск над головой, чувствовал, как опускается такое же темное крыло.

Пронзительно, как будто раздался звон разбитого стекла, зазвонил телефон. В трубке стоял гул. Кто-то, если я правильно понял, спрашивал Чарли. «Его нет! Его нет дома!» — закричал я и бросил

трубку. Почти сразу же телефон заверещал снова. «Подожди, подожди, не вешай трубку, — раздался тот же голос, — это я, Чарли». Я, разумеется, рассмеялся. «Я звоню с улицы, — сказал он, — понимаешь, с улицы». Я продолжал смеяться. Последовала пауза. «Здесь полицейские, Фредди, — сказал он, — они хотят поговорить с тобой, произошло какое-то недоразумение». Я закрыл глаза. Тут только я понял: какая-то частица меня, оказывается, еще надеялась, что все обойдется, не могла до конца поверить, что наступил конец. Казалось, помехи символизируют собой тревогу и смущение самого Чарли. «Чарли, Чарли, почему ты прячешься в телефонной будке? Неужели ты мог подумать, что я причиню тебе зло?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

Хотелось есть. Я спустился на кухню, сделал себе громадный омлет, съел полбуханки хлеба и выпил пинту молока. Я сидел, широко расставив локти и уставившись в тарелку, и заглатывал пищу со звериным равнодушием. Из-за дождя комната была погружена во мрак. Чарли я услышал сразу, стоило ему войти в дом: он никогда не умел бесшумно ходить по жизни. Он заглянул на кухню и — без особого успеха — изобразил на лице улыбку. Я указал ему на стул, и он с опаской

присел на краешек. Тем временем я принялся за вареную картошку, оставшуюся от вчерашнего ужина, — никак не мог наесться. «Чарльз, — сказал я, — вы ужасно выглядите». Я не преувеличивал: лицо у него посерело, осунулось, глаза провалились. Рубашку он застегнул на все пуговицы, однако галстука не надел. Он провел рукой по подбородку, и я услышал, как шуршит щетина. «Сегодня пришлось очень рано встать», — сказал он; его подняли с постели и вызвали в участок. В первый момент я не сразу понял, о каком участке идет речь. Он не отрывал глаз от моей тарелки с вареной картошкой. Что-то в окружавшей нас тишине изменилось: я понял вдруг, что дождь прекратился. «Господи помилуй, Фредди, что ты нагворил?» — проговорил он еле слышно. Казалось, он не столько потрясен, сколько озадачен. Я достал из холодильника еще одну початую бутылку молока. «А помните, Чарли, как вы угощали меня в „Джаммете“ и в „Парадисо“?» Он только пожал плечами. Было непонятно, слушает он меня или нет. Молоко свернулось. Я все равно его выпил. «Знаете, я ужасно любил ходить с вами по ресторанам, — сказал я, — хотя виду не подавал». Я нахмурился. Что-то я не то говорю, подумал я. Мои слова сворачивались, точно молоко.

Когда я лгу, то говорю глухим, невыразительным голосом. Да и вообще зачем надо было ворошить прошлое, воскрешать старую, никому теперь ненужную ложь? Или я, сам того не сознавая, уже готовился к будущим исповедям? Нет, не совсем так. Я просто хотел попросить у него прощения, а как было сделать это, не солгав? Сейчас передо мной сидел дряхлый старик: плечи поникли, голова болтается на тощей жилистой шее, рог перекосился, слезящиеся глаза устремлены в одну точку. «Я виноват, Чарли, сказал я, — виноват, черт возьми».

Интересно, полицейский случайно вошел именно в этот момент или же, стоя за дверью, подслушивал? В кино, я заметил, вооруженный убийца, вжавшись в стену и тараща от возбуждения глаза, всегда ждет в коридоре, пока разговор не подойдет к концу. Видимо, данный блюститель закона неплохо разбирался в кино. У него было продолговатое скуластое лицо и гладкие черные волосы, одет он был в подбитый ватой военный китель. Автомат, который он держал — топорная модель с тупым, очень коротким стволом, — был поразительно похож на игрушечный. Когда он появился на кухне, вид у него был более удивленный, чем у нас с Чарли. Я не мог не восхищаться

той сноровкой, с какой он взломал заднюю дверь. Она болталась на петлях, а сломанная щеколда повисла, как язык у гончей. Чарли встал. «Все в порядке, сержант», — сказал он. Полицейский переступил через порог. Он смотрел прямо на меня. «Ты арестован, — сказал он. — Слышишь, ублюдок?» За его спиной, во дворе, неожиданно показалось солнце, и все осветилось, влажно заблестело.

Через переднюю дверь вошли еще несколько полицейских; сначала я решил, что их человек десять, однако, присмотревшись, обнаружил только четверых. В одном из них я узнал того типа, что утром стоял под домом, у стены гавани, — узнал по плащу. Все были вооружены пистолетами разных марок и калибра. Я оторопел. Они встали по стенам, глядя на меня с плохо скрываемым любопытством. Дверь в прихожую оставалась открытой. Чарли двинулся было туда, но один из полицейских обронил: «Стоять». В тишине слышно было приглушенное воркование полицейских раций снаружи. Ощущение было такое, будто все мы ждем появления монарха. Однако появился вовсе не монарх, а хрупкий, похожий на мальчишку, человек лет тридцати с золотистыми волосами и прозрачными голубыми

глазами. У него были поразительно маленькие, я бы даже сказал изящные, руки и ноги. Он подошел ко мне как-то неуверенно, бочком, глядя в пол с загадочной улыбочкой. «Меня зовут, — сказал он, — Хаслет, инспектор Хаслет». (Привет, старина, надеюсь, ты не в обиде, что я назвал твои ручки изящными, — это чистая правда, поверь.) Странное его поведение — эта улыбочка, косой взгляд — объяснялось, скорее всего, робостью. Робкий полицейский! Этого я никак не ожидал. Он оглянулся. Всем стало как-то неловко, никто не знал, что делать дальше. Хаслет снова как-то косо посмотрел на меня. «Ну что, — сказал он, не обращаясь ни к кому в отдельности, — дело сделано?» И тут внезапно все ожило. Тот, с автоматом (назовем его сержант Хогг), сделал шаг вперед и, положив оружие на стол, ловко защелкнул у меня на запястьях наручники. (Кстати говоря, не такие уж они неудобные; есть в них даже что-то успокаивающее — как будто естественней сидеть на цепи, чем пользоваться неограниченной свободой.) Чарли нахмурился. «Без этого никак нельзя, инспектор?» — спросил он. Сказано это было с таким чувством, гак проникновенно, с долей серьезного высокомерия, что в первый момент я даже удивился, не услышав аплодис-

ментов. Я посмотрел на него с неподдельным восхищением. От старческого болезненного вида, что бросался в глаза всего пару минут назад, не осталось и следа; теперь Чарли выглядел весьма важно: темный костюм, серебристые кудри. Небритый, в рубашке без галстука, он был похож на государственного мужа, который среди ночи улаживает вспыхнувший в стране конфликт. Поверьте, я вовсе не лицемерю, когда говорю, что восхищаюсь его поразительным умением перевоплощаться. Мне вообще кажется, что безоглядная вера в маску — это истинный признак утонченного гуманизма. Эту сентенцию я сам придумал или кто-то еще? Не важно. Я встретился с ним глазами, чтобы дать ему понять, как высоко я его ценю, и чтобы… о Господи… чтобы попросить у него прощения, что ли. Потом я подумал, что мой взгляд мог показаться ему скорее насмешливым, чем извиняющимся. По-моему, во время всего этого кухонного фарса на лице у меня играла издевательская ухмылка. У Чарли же рот был крепко сжат, челюсть тряслась от бешенства (беситься у него были все основания), однако в глазах читалась лишь мечтательная грусть. В это время Хогг толкнул меня в спину, и меня быстро вывели в прихожую, а оттуда — на

ослепительный солнечный свет.

Тут произошло минутное замешательство: полицейские какое-то время тупо переминались с ноги на ногу, вытягивая свои короткие шеи и во все стороны вертя головами. Чего они боялись — что меня отобьют? Я обратил внимание, что все они были в кроссовках, только один Хаслет, как и полагалось добропорядочному сельскому жителю, щеголял в добротных коричневых башмаках. Один из его людей столкнулся с ним. «Чем больше полицейских, тем меньше добыча», — сострил я, но никто не засмеялся, а Хаслет сделал вид, что не расслышал. Я же счел, что сказал нечто необычайно остроумное. Я по-прежнему пребывал в состоянии безумного возбуждения; хотелось прыгать, кусаться, рычать. Все сверкало в чисто вымытом морском воздухе. В солнечном свете ощущалось какое-то таинственное, фантастическое мерцание, мне чудилось, будто я ловлю руками летящие фотоны. Мы перешли улицу. Машина, которую я видел из окна, стояла там же, лобовое стекло было покрыто дождевыми каплями. Двое на переднем сиденье проводили нас любопытным взглядом. Я засмеялся: это были вовсе не полицейские, а какой-то здоровяк со своей «здоровячкой» — по случаю воскресенья они

выехали «на природу», «подышать свежим воздухом». Женщина, лениво жуя конфету, уставилась на наручники, и я, в дружеском приветствии, поднял руки. Хогг еще раз толкнул меня под лопатку, да так сильно, что я чуть не упал. С этим, я это сразу понял, шутки плохи.

Машин было две, синяя и черная, — обе самые обыкновенные, ничем не примечательные. Распахнутые дверцы напоминали крылышки у жука. Меня посадили на заднее сиденье между сержантом Хоггом и рыжеволосым великаном с лицом младенца. Хаслет облокотился на дверцу. «Вы его предупредили?» — мягко осведомился он. Никто ему не ответил. Два детектива, сидевшие впереди, застыли в неестественных позах, как будто больше всего на свете боялись рассмеяться. Хогг с мрачным видом, стиснув зубы, смотрел прямо перед собой. Хаслет вздохнул и отошел. Шофер осторожно, словно на ощупь, повернул ключ в замке зажигания. «Пока можешь молчать, балаболка», — процедил Хогг, не глядя на меня. «Спасибо, сержант», — откликнулся я, решив про себя, что и эта моя фраза — верх остроумия. Мы, резко рванув с места, отъехали от тротуара, оставив за собой дымок от чиркнувших по асфальту шин. «Интересно, — подумал я, — Чарли

стоит сейчас у окна или нет?» Подумал, но не обернулся.

Отвлекусь на минуту, чтобы сообщить, что умер Хельмут Беренс. Сердце. Господи, моя история превращается в Книгу Мертвых.

Как хорошо мне запомнилось это путешествие! В жизни не приходилось ехать так быстро. Мы на бешеной скорости проносились мимо вялого воскресного транспорта, ныряли в переулки, поворачивали на двух колесах, визжа тормозами. Было чудовищно жарко — все окна ведь были подняты, в машине стоял какой-то мускусный, животный запах. Атмосфера накалилась. Я пребывал в оцепенении, испытывал ужас и в то же время какую-то радость оттого, что несся с такой скоростью, что сидел плечо к плечу с этими огромными потными парнями, которые молча пялились на дорогу, сложив руки на груди и еле сдерживая возбуждение и ярость. Я чувствовал, как тяжело они дышат. Скорость их успокаивала, разряжала. Солнце било нам в глаза — злобно, неотступно. Я знал: они ждут любого предлога, чтобы навалиться на меня и избить до полусмерти. Впрочем, даже в этой мысли было что-то тонизирующее. Я ведь ни разу в жизни не привлекал к себе столько внимания. Отныне

с меня не будут спускать глаз, за мной будут ухаживать, меня будут кормить, как большого беспокойного младенца. Не будет больше беготни, не придется больше прятаться и ждать, не надо будет принимать решений. Я уютно пристроился между своими тюремщиками, чувствуя приятное покалывание металла в суставах. И в то же время другой, так сказать, стороной рассудка, я прикидывал, что я теряю. На улицы, здания, людей я смотрел, словно бы в последний раз. Я, который всегда был в душе сельским жителем (да, это правда), который никогда по-настоящему не знал, да и не интересовался городом, даже когда жил в нем, теперь начал относиться к нему с любовью. С любовью? Это слово не из моего лексикона. Быть может, я имею в виду что-то совсем другое… Что же я терял? Я терял… даже не знаю что. Я чуть было не сказал «человеческое сообщество» или нечто столь же напыщенное, высокопарное, но осекся: я ведь никогда не был частью людского сборища. Как бы то ни было, сейчас, дорогой, сердце мое сжималось от тоскливого чувства отрешенности и утраты. Особенно хорошо мне запомнилась почему-то улочка у реки, где мы целую минуту простояли у испорченного светофора. На этой улочке маленькие

жилые дома соседствовали с большими серыми, невзрачными — складами и прочими подсобными помещениями. На подоконнике сидел старик, в канаве играл с чумазым щенком младенец. Над домами гордо реяло развешенное белье. Было тихо. Горел, не меняясь, красный свет. И тут, как будто повернули какой-то тайный рычаг, немая сценка стала медленно, робко приходить в движение. Сначала по красному металлическому мосту прогремел зеленый поезд. Потом две двери в двух домах распахнулись одновременно, и погреться на солнце вышли две нарядно одетые девушки. Потом издал победоносный крик ребенок и затявкал щенок. Над головой пронесся самолет, а мгновением позже тень его легла на мостовую. Старик с поразительной ловкостью спрыгнул с подоконника, последовала эффектная пауза, после чего, огласив окрестности устрашающим воем, над крышами домов проплыл увенчанный черной трубой белый капитанский мостик океанского лайнера. Все это выглядело так причудливо, так наивно и непосредственно (точно цветная иллюстрация на обложке школьного учебника географии), что мне захотелось громко рассмеяться, хотя, рассмейся я, раздался бы, скорее всего, не смех, а стон. Но тут шофер вы-

ругался и проехал на красный, я быстро повернул голову и увидел, как вся картинка — и принарядившиеся по случаю воскресенья девушки, и пароход, и ребенок с собакой, и старик, и красный мост — сворачивается; сворачивается и вихрем уносится в прошлое.

Полиция помещалась в здании, похожем на дворец эпохи Возрождения, с высоким серым каменным фасадом и аркой, которая вела в сумрачный маленький дворик, где когда-то наверняка стояла виселица. Меня бесцеремонно вытолкнули из машины, провели через низкую дверь и погнали по длинным мрачным коридорам. По всему зданию витали воскресная летаргия и терпкий запах школы-интерната. Если честно, я надеялся, что моего приезда будут с нетерпением ждать, что в коридорах, чтобы взглянуть на меня хоть одним глазком, будут толпиться клерки, секретарши и полицейские в подтяжках, — однако кругом было пусто, а те немногие, кто нам встречался, даже не смотрели в мою сторону, что, признаться, показалось мне даже довольно обидным. Мы вошли в продолговатую неуютную комнату и стали ждать, когда приедет инспектор Хаслет. Два высоких, очень грязных зарешеченных окна выходили во двор. В углу стояли

обшарпанный письменный стол и несколько стульев. Никто не садился. Мы переминались с ноги на ногу и смотрели в потолок. Кто-то кашлянул. Вошел пожилой полицейский в рубашке с короткими рукавами, лысый, с нежной, почти детской улыбкой. Мне бросилось в глаза, что на ногах у него были высокие черные сапоги, начищенные до блеска. Вид этих сапог почему-то успокаивал. Впредь мне предстояло оценивать своих тюремщиков по обуви. Ботинкам и сапогам я склонен был доверять, кроссовки же не сулили ничего хорошего. Через несколько минут во двор въехала машина инспектора Хаслета. Как и час назад, мы ждали его прихода. Как и час назад, на губах его застыла застенчивая улыбочка. Я стоял перед столом, пока он зачитывал предъявленные мне обвинения; этот скромный церемониал напомнил мне день моей свадьбы, и я с трудом сдержал улыбку. Лысый печатал список обвинений на допотопной пишущей машинке, высунув от натуги кончик языка, и со стороны казалось, что он не печатает, а подбирает мелодию на пианино. На вопрос инспектора, хочу ли я что-нибудь сказать, я отрицательно покачал головой — не знал, с чего начать. На этом ритуал закончился. Послышался — так мне показалось — общий вздох

облегчения, и все полицейские, за исключением Хогга, шаркая ногами, вышли из комнаты, как выходят из церкви после окончания службы. Хогг же достал из кармана сигареты, протянул пачку сначала Хаслету, потом полицейскому, сидевшему за машинкой, и, в последнюю очередь, хоть и не без колебаний, мне. Я понимал, что отказываться нельзя, и задымил, стараясь не кашлять. «Скажите, — спросил я у Хаслета, — как вы меня отыскали?» Хаслет скромно пожал плечами. Сейчас он был похож на школьника, который с блеском сдал все самые трудные экзамены. «Девица в газетном киоске навела, — ответил он. — Вы всегда читали про одно и то же. Каждый день». — «Л, ну да, конечно», — согласился я, про себя же подумал, что его слова звучат не очень-то убедительно. Уж не прикрывает ли он Бинки Беренса, а может, и Анну? (Нет, как выяснилось, не прикрывал. Оба они так в полицию и не заявили.) Еще некоторое время продолжался дружеский перекур. На оконное стекло легли рядышком два солнечных луча-близнеца. Где-то работало радио. Мне вдруг все нестерпимо надоело.

«Послушай, — сказал Хогг, — зачем ты это сделал?»

Я растерялся. Этот вопрос я себе не задал ни

разу — по крайней мере, вот так, напрямую. «Знаете, сержант, — сказал я, — вы задали очень непростой вопрос». Выражение его лица нисколько не изменилось: он стоял, как стоял — разве «что шевельнулись на голове гладкие волосы, а в следующее мгновение я почувствовал вдруг страшную боль — казалось, что-то внутри, печень или почки, рвется на части. Сильнее, чем боль, было только изумление, да еще какое-то особое, извращенное удовлетворение. Я упал на колени в горячем тумане. Нечем было дышать. Лысый оторвался от машинки, встал, обошел стол, поднял меня, подхватив под мышки (он сказал: «Ну-ка вставай, а то простудишься», или это мне только послышалось?), повел по коридору и втолкнул в крошечный вонючий нужник. Я рухнул на колени перед унитазом, и меня вырвало омлетом, картошкой в масле и кислым молоком. Боль в животе была просто сверхъестественной, даже не верилось, что такая бывает. Когда рвать больше было нечем, я повалился на спину, задрав ноги и продев руки под коленями. «Ну вот, — подумал я, — это дело другое. Можно было заранее предположить, что я буду кататься по полу и выть от боли». Лысый постучал в дверь. «Проблевался? — участливо спросил он и непринужденно добавил:

— Так всегда бывает: блюешь и думаешь — когда же столько сожрать-то успел?»

Хогг стоял у окна и смотрел во двор, держа руки в карманах. «Полегчало?» — поинтересовался он, покосившись на меня через плечо. Хаслет сидел у стола с рассеянным видом и хмуро барабанил пальцами по кипе бумаг. Он указал мне на соседний стул. Я сел — с опаской, на краешек. Когда он повернулся ко мне лицом, колени наши почти соприкасались. Хаслет поднял глаза, словно что-то высматривая на потолке. «Ну-с, — сказал он наконец, — поговорим?» Да, да, конечно, мне хотелось говорить и говорить, довериться ему, излить все свои жалкие тайны. Но что говорить? И какие такие у меня были тайны? Лысый уже опять сидел за машинкой, положив на клавиатуру свои толстые пальцы и жадно уставившись мне прямо в рот. Застыл в ожидании и Хогг; он по-прежнему стоял у окна и гремел мелочью в кармане брюк. Пусть себе слушают — эти двое меня мало интересовали. Другое дело — инспектор. Он постоянно мне кого-то напоминал, кого-то, с кем я вместе учился, одного из тех скромных, неприметных героев, которые одинаково хорошо успевали и по физкультуре, и по математике, но сторонились похвал, стеснялись собственных

успехов, собственной популярности. У меня не хватало духу признаться ему в том, что признаваться-то не в чем, что никаких планов я не строил и что действовал с самого начала, можно сказать, наобум. Поэтому-то я понес какую-то ахинею о том, что хотел, мол, выдать ограбление за террористический акт, и прочий вздор, который стыдно даже здесь повторять. «А потом эта девушка… — начал я. — Эта женщина… — я вдруг забыл ее имя! А потом Джози… все испортила, она не давала мне вынести картину… она набросилась на меня, угрожала, что… что…» Мне мучительно не хватало слов, и я смолк, беспомощно глядя на инспектора и теребя пальцы. Ужасно хотелось, чтобы он мне поверил. В эти минуты доверие его значило для меня почти так же много, как и прощение. Воцарилась тишина. Хаслет по-прежнему внимательно изучал потолок. Возможно, он меня и не слушал. «Господи», — тихо, без особого нажима проговорил Хогг. Лысый откашлялся. Затем Хаслет, поморщившись от — боли и согнув одну ногу в колене, встал, вышел не торопясь из комнаты и мягко прикрыл за собой дверь. Слышно было, как он удаляется по коридору той же неторопливой походкой. Откуда-то издалека доносились голоса — его и кого-то еще. Хогг с

отвращением смотрел на меня через плечо. «А ты, я смотрю, шутник, а?» — обронил он. Я хотел было возразить, но счел за лучшее промолчать. Время шло. В соседней комнате кто-то засмеялся. Во дворе завелся мотоцикл. На стене висела пожелтевшая памятка: «Что надо делать при укусе бешеной собаки». Я прочел ее и улыбнулся: «Бешеная собака Монтгомери посажена наконец на цепь».

Инспектор Хаслет вернулся в сопровождении двух человек: крупного краснолицего потного мужчины средних лет в полосатой рубашке и молодого парня с отталкивающей внешностью под стать Хоггу. Они обступили меня и, подавшись вперед, упершись ладонями в стол и тяжело дыша, долго меня разглядывали. Я снова повторил свой рассказ от начала до конца во всех подробностях, стараясь самому себе не противоречить, однако на этот раз история получилась еще более неправдоподобной. Когда я закончил, опять, как и в прошлый раз, наступило молчание. Я уже начинал привыкать к этим недоуменным и, по всей вероятности, весьма скептическим паузам. Краснолицый — персона, насколько я мог понять, важная — был в ярости, которую сдерживал с большим трудом. Назовем его… Баркер.

Он окинул меня пристальным, злобным взглядом. «Ладно тебе, Фредди, — сказал он наконец, — говори, зачем убил?» Я уставился на него. Его презрительный фамильярный тон (какой я тебе Фредди?!) мне не понравился, однако я решил не придавать этому значения. Я узнал в нем себе подобного: такой же крупный, вспыльчивый, так же тяжело дышит. Постепенно все это начинало действовать мне на нервы. «Я убил ее потому, что сумел, — сказал я. — Что тут еще говорить?» Мы все (и я ничуть не меньше остальных) были потрясены услышанным. Тот, кто помоложе, Хикки, нет, Кихем, громко хмыкнул. Его тонкий, пискливый, довольно даже мелодичный голос никак не соответствовал угрожающему виду и повадкам. «Этот, как его, — сказал он, — он что, гомик?» Я беспомощно посмотрел на него, не понимая, о чем речь. «Простите?» — «Этот Френч, — нетерпеливо повторил Кихем, — он пед?» Я рассмеялся, не мог не рассмеяться — такой смешной, даже абсурдной казалась сама мысль, что Чарли может зайти в паб Уэлли и там тискать его мальчиков. (Как видно, дружок Уэлли по кличке Сынок, щеголявший в рубашке изумрудного цвета, распространял про Чарли гнусную ложь. Боже, в каком порочном мире мы живем!) «Нет, нет,

— возразил я, — нет, у него иногда бывают женщины…» Если б я так не нервничал, если б вопрос Кихема не застал меня врасплох, я бы всего этого не сказал — шутить ведь я вовсе не хотел. Никто не засмеялся. Они продолжали молча смотреть на меня, и молчание с каждой минутой становилось все напряженней: казалось, оно вот-вот лопнет, как перекрученная пружина. Но вдруг все полицейские, как по команде, повернулись на пятках и один за другим вышли в коридор, хлопнув дверью, а я остался наедине с лысым, который улыбнулся мне своей нежной улыбкой и пожал плечами. Я сказал, что меня опять тошнит, он вышел и вскоре вернулся с кружкой липкосладкого чая и куском хлеба. Почему, скажите мне, от одного вида этого чая мне становилось тоскливо, как беспризорному ребенку? Каким же заброшенным и бесприютным казалось теперь все вокруг: и эта жалкая комнатушка, и далекие голоса людей, живущих своей жизнью, и двор, залитый солнцем, тем самым, что неизменно светит сквозь годы из самого далекого детства. Вся эйфория, которую я испытывал совсем недавно, исчезла безвозвратно.

Хаслет вернулся, на этот раз один, и, как и раньше, уселся со мной рядом. Он снял пиджак и

галстук и закатал рукава рубашки. Волосы у него растрепались, отчего он был особенно похож на мальчишку. Он тоже держал в руке кружку с чаем — гигантскую кружку в крошечной белой ручке. Я представил его себе ребенком: поле протянулось до самого горизонта, под ногами чавкает болото, они с отцом собирают торф, по воде плавают щепки, запах дыма и жареного картофеля, плоская равнина цвета заячьего меха — и огромное стоящее торчком небо с нарисованными на нем пучками облаков с золотыми прожилками.

«Начнем по новой», — сказал он.

Мы просидели несколько часов. Солнечные лучи в окне становились все длиннее, день клонился к вечеру, а я, счастливый оттого, что меня слушают, никак не мог остановиться. Хаслет проявлял бесконечное терпение. Его интересовала каждая мелочь, любая, самая пустячная подробность. Нет, не совсем так. Создавалось впечатление, что его вообще ничего не интересует. Все перипетии моего рассказа он воспринимал с неизменным выражением терпимости, с неизменной, немного озадаченной улыбкой. Я рассказал ему, что давно знаком с Анной Беренс, рассказал про ее отца, про алмазные копи, про бесценную коллекцию картин. Я внимательно

следил за инспектором, пытаясь понять, что из рассказанного ему известно и без меня, однако Хаслет держался безупречно, ничем себя не выдавал. А ведь он наверняка разговаривал с ними, брал у них показания. Не могли же Беренсы не сказать обо мне — вряд ли они прикрывали меня до сих пор. Он почесал щеку и опять вперился в потолок. «Этот Беренс выбился из низов, ведь так?» — спросил он. «Как, в сущности, и все мы, инспектор», — отозвался я, после чего Хаслет как-то странно посмотрел на меня и встал. Я заметил, что и на этот раз он морщится от боли. Коленная чашечка. Футболист. Воскресный вечер, в молочном воздухе приглушенные крики болельщиков, глухой стук кожи по коже. «Ну а что теперь? — с тревогой спросил я. — Что будет со мной дальше?» Мне не хотелось, чтобы он так рано уходил. Что я буду делать, когда станет темно? Хаслет сказал, что мне надо назвать лысому имя своего адвоката, чтобы адвокат знал, где я нахожусь. Я кивнул. Никакого адвоката у меня, понятное дело, не было, но признаться в этом я не мог — — это бы нарушило ту непринужденную, почти приятельскую атмосферу, которая возникла между нами, породило бы неловкость. Как бы то ни было, я намеревался сам вести собственную

защиту и уже рисовал в своем воображении, какие блестящие и страстные монологи я буду произносить со скамьи подсудимых. «Я должен что-нибудь еще сделать? — насупившись, спросил я. — Кому-нибудь еще дать знать?» (Каким же я был паинькой, какой овечкой, как во всем слушался этого доброго малого и какое удовольствие сам же от этого получал!) Он опять как-то странно посмотрел на меня — в этом взгляде чего только не было: и раздражение, и нетерпение, а также некая ироническая удовлетворенность и даже, пожалуй, намек на сопереживание. «Прежде всего вы должны рассказать все, как было, без этих ваших фокусов и вывертов», — сказал он. «Что вы хотите этим сказать, инспектор? Что вы имеете в виду?» Я терял под ногами почву. Боб Черри вдруг показал зубы, превратился, пусть и ненадолго, в мистера Куэлча[8]. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду», — сказал он и ушел, прислав вместо себя Хогга, который вместе с лысым (ради Бога, назови ты его как-нибудь!), вместе с Каннингемом, сержантом и писарем в одном лице, отвел меня вниз, в камеру.

Я все еще был в наручниках?

---

[8] notes: 8

Персонажи популярных детских книг из серии «Билли Бантер» английского писателя Фрэнка Ричардса (1876–1961).

Не знаю (на самом-то деле, конечно, знаю), почему я говорю, что они отвели меня вниз — мы просто прошли по коридору до конца, миновали уборную и проникли за стальную перегородку. Не скрою, меня охватил страх, но он быстро сменился любопытством: ведь все было именно так, как я ожидал! И решетки, и ведро, и койка с полосатым комковатым матрасом, и надписи на выщербленной стене. Имел место даже заросший щетиной старожил, который стоял в дверях своей камеры, судорожно вцепившись в решетку, и молча, со злобной насмешкой пялился на меня. Мне вручили кусок мыла, маленькое полотенце и три листочка выцветшей туалетной бумаги. Я же, в ответ, отдал им свой ремень и шнурки. Значение этого ритуала я осознал сразу. Топчась в ботинках без шнурков, с вывернутыми язычками, подхватывая одной рукой падающие брюки, а другой прикрывая то, что принято называть «стыдом», — я перестал быть человеком в полном смысле слова. Сразу же хочу уточнить: это решение — по крайней мере, в моем случае — представлялось мне вполне справедливым и правомерным, формальным закреплением того процесса, который продолжался уже давно. Я добился того, к чему шел, и даже старый Каннин-

гем, даже сержант Хогг отнеслись к моему виду с пониманием: теперь в их обращении со мной к грубости и бесцеремонности прибавилось еще и какое-то не вполне осознанное сочувствие, словно они были не столько моими тюремщиками, сколько санитарами. Для них я был сейчас чем-то вроде старого, больного, беззубого льва. Хогг сунул руки в карманы и, посвистывая, удалился. Я присел на койку. Время шло. Кругом было тихо. Нарушил тишину старожил из соседней камеры, который поинтересовался, как меня зовут. Я ему не ответил. «Ну и хрен с тобой», — буркнул он. Смеркалось. Я всегда любил это время дня, когда, будто из-под земли, льется мягкий приглушенный свет и все вокруг становится задумчивым и отрешенным. Уже почти совсем стемнело, когда вернулся сержант Хогг и протянул мне какой-то смятый листок. Он ел чипсы, я почувствовал это по запаху у него изо рта. Я пробежал глазами неряшливо напечатанную страничку. «Это твоя исповедь, — хмыкнул Хогг. — Подмахнуть не хочешь?» Старожил хрипло хохотнул. «О чем вы? — недоумевал я. — Это не мои слова». Хогг пожал плечами и рыгнул, прикрыв кулаком рот. «Ладно, располагайся — теперь тебе всю жизнь за решеткой сидеть», — сказал он и ушел

опять. Я вновь опустился на койку и изучил этот странный документ. Нет, не зря я назвал лысого «Каннингемом»![9]. Под маской старого чудака скрывался дьявольски искусный художник, не чета мне, прямолинейный и заумный одновременно, великий мастер худосочного стиля, владеющий искусством скрывать искусство. Я поразился тому, как абсолютно все — и опечатки, и неуклюжий синтаксис, и даже бледные, совсем почти «слепые» буквы — работало на него. Такая смиренность, такая почтительность, такое безжалостное подавление своего «я» — ради текста! Он взял мою историю со всеми (как выразился Хаслет) «фокусами и вывертами» и, безжалостно урезав, довел ее, так сказать, до ума. Передо мной лежал теперь выхолощенный перечень моих преступлений, которые я с трудом узнавал, но в реальность которых, однако же, верил. Вот кто сделал из меня настоящего убийцу. Я бы подписал эту бумагу тотчас же — было бы чем писать. Я даже стал рыться в карманах в поисках чего-нибудь острого, какой-нибудь булавки, чтобы наколоть палец и расписаться кровью. А впрочем, какая разница, такой документ в моем одобрении не

---

[9] notes: 9
Cunning — хитрый (англ.)

нуждался. Я благоговейно сложил листок вчетверо и сунул его под матрас, под голову. Потом разделся догола, лег на спину, сложил, точно мраморный рыцарь на надгробии, руки на груди и закрыл глаза. Я перестал быть самим собой. Не могу этого объяснить, но это так: я перестал быть самим собой.

Первая ночь в заключении была беспокойной, и спал я урывками. Мне все время чудилось, будто я беспомощно барахтаюсь в темной морской воде. Я ощущал под собой глубину — бездонную черную глубину. Хуже всего, как всегда, был предрассветный час. Я несколько раз онанировал (уж простите мне эти грязные подробности) и не ради удовольствия, а исключительно чтобы вымотаться. В этом унылом занятии подспорьем мне служила многоликая компания фантомов, которых я вызывал в своем воображении. Мне помогали и Дафна (что естественно), и Анна Беренс, которую изумляло и несколько даже шокировало то, что я заставлял ее делать, и Рыжик, которая опять рыдала в моих объятиях, бедняжка, пока я, молча, украдкой делая свое черное дело, вдавливал и вдавливал ее в дверь в пустой, залитой лунным светом комнате моих фантазий. Но явились и те, кого я уж никак не

ожидал увидеть: племянница Мэдж, к примеру (помните племянницу Мэдж?), громадная девица с красной шеей, за которой я гонялся по улицам (помните ее?), и даже — прости, Господи! — моя собственная мать и рыжая Джоанна с конюшни. А в самом конце, когда все они, погостив, исчезли и я, опустошенный, лежал на тюремной койке, взору моему вновь предстала, будто тягостная и неотвратимая обязанность, таинственная дверь и чье-то невидимое присутствие за ней. Этот невидимка силился выйти наружу. Он хотел вырваться, он хотел жить.

Утро понедельника. Ох уж это мне первое утро недели! Пепельный свет, шум, ощущение бессмысленной, но необходимой спешки. Думаю, что и в ад я попаду именно в понедельник утром. Меня разбудил полицейский с очередной кружкой липкого чая и куском хлеба. Когда он пришел, я дремал; мне снилось, будто меня прижал к себе громадный зверь с жаркой, вонючей пастью. Я сразу же понял, где я нахожусь, никаких сомнений на этот счет у меня не возникло. Полицейский был совсем еще молоденький здоровенный парень с крошечной головкой, и, когда я открыл глаза и посмотрел на него, мне показалось, что ростом он до самого потолка.

Он пробурчал что-то невнятное и тут же ушел. Я спустил ноги на пол и обхватил голову обеими руками. Во рту было гадко, глаза болели изнутри, под ложечкой неприятно посасывало. «Неужели теперь меня будет тошнить до конца дней?» — подумал я. Сквозь прутья моей клетки косо падали тусклые солнечные лучи. Стало холодно. Я накинул одеяло на плечи и, согнув дрожащие колени, присел на корточки над ведром. Я бы ничуть не удивился, если б в коридоре, чтобы посмеяться надо мной, собралась целая толпа. «Да, — свербила мысль, — да, так теперь и будет». В мысли этой было даже что-то по-своему приятное. Приятное и страшное.

Пришел сержант Каннингем отвести меня на первое заседание святой инквизиции. Я помылся, как мог, над грязной раковиной в углу и попросил у Каннингема бритву. Он покатился со смеху — ишь чего, дескать, захотел. Вероятно, он и впрямь считал меня ушлым типом. «Покладистый нрав, — подумал я. — Он ведь проторчал здесь всю ночь, его смена кончается только сейчас». Поддерживая падающие штаны, я поплелся за ним по коридору. В канцелярии творилось нечто несусветное: стучали пишущие машинки, выли и затравленно хрипели коротковолновые пере-

датчики, люди, роняя слова через плечо, входили и выходили или же, пригнувшись к столу, что-то кричали в телефонную трубку. Когда я проходил, все замолчали — нет, конечно, не замолчали, а заговорили вполголоса. Уже знают, стало быть. Они не пялились на меня — профессионалы все-таки, — но поняли, что к чему. В этот момент я увидел себя их глазами: нелепое существо, которое бежит, приплясывая, за добряком Каннингемом, точно ручной медведь. Он открыл дверь и завел меня в квадратную серую комнату с пластмассовым столом и двумя стульями. «Еще увидимся», — сказал он с порога, подмигнув; голова его скрылась, дверь захлопнулась. Я медленно опустился на стул и, как школьник, сложил на столе руки. Время тянулось медленно. Я и сам удивился, как спокойно, оказывается, могу я вот так вот сидеть и ждать; мне словно бы удалось каким-то образом отделиться от своего физического «я». Комната была похожа на внутренность черепа; казалось, люди, чьи голоса доносились до меня через стену, находятся не в соседней комнате, а на другой планете.

Первыми явились Баркер и Кихем. Сегодня Баркер был в синем костюме такого размера, что в него впору было заворачивать вещи — ящики,

например. Несмотря на утренний час, лицо у Баркера уже налилось краской и вспотело. Кихем был в том же, что и накануне, кожаном пиджаке и в темной рубашке — этот не из тех, кто часто меняет туалеты. Они пришли выяснить, почему я не подписал свои показания. Я напрочь позабыл про этот листок (он так и лежал у меня под матрасом), однако почему-то выдумал, что разорвал его. Вновь наступила гнетущая тишина, они молча стояли надо мной, стиснув кулаки, и тяжело, с присвистом дышали. В воздухе притаилось еле сдерживаемое насилие. Постояв так с минуту, они, однако, гуськом вышли из комнаты, и я опять остался один. Моими следующими посетителями были пожилой субъект в кавалерийской холщовой робе и в аккуратной маленькой шляпке и узкоглазый молодой крепыш, на вид — неудавшийся сын пожилого. Прежде чем войти, они долгое время испытующе смотрели на меня, после чего «кавалерист» сделал несколько шагов вперед и сел напротив, положив ногу на ногу, сняв шляпу и обнажив плоскую лысую голову, восковую и всю в каких-то странных впадинах, как у больного ребенка. Он извлек из кармана трубку, неторопливо раскурил ее, снова положил ногу на ногу и, устроившись поудобнее, стал

задавать какие-то загадочные вопросы, цель которых, как я сообразил позднее, состояла в том, чтобы выяснить, что мне известно про Чарли Френча и его знакомых. Отвечал я с предельной осторожностью, ибо не знал, к чему он клонит, — подозреваю, впрочем, что и они этого тоже не знали. При этом я не забывал улыбаться им обоим, демонстрируя лояльность и уступчивость. Тот, что помоложе, оставался стоять в дверях и что-то записывал в блокноте во всяком случае, делал вид, что записывает; меня вообще не покидало чувство, что меня «берут на пушку», стремятся отвлечь или запугать. Кончилось тем, что мне все это надоело (при всем желании я не мог принимать их всерьез), я сбился и стал сам себе противоречить. Спустя некоторое время они, видимо, тоже потеряли ко мне интерес и вскоре ушли. Сменил их мой старый приятель инспектор Хаслет, который влетел в комнату, по обыкновению робко улыбаясь и глядя в сторону. «Господи, — сказал я, — кто это такие?» — «Из спецслужб», — отрезал он, сел, уставился в пол и забарабанил пальцами по столу. «Послушайте, — сказал я, — я беспокоюсь… моя жена… я…» Но он меня не слушал, мои слова абсолютно его не интересовали. Разговор опять зашел о моих по-

казаниях. Почему я не подписал бумагу? Говорил он тихим, спокойным голосом — так говорят о погоде. «Вы бы очень облегчили себе жизнь, поймите», — сказал он. И тут я неожиданно рассвирепел, не знаю даже, что на меня нашло: я стукнул кулаком по столу, вскочил, стал кричать, что ничего не подпишу, что пальцем не пошевелю, пока не получу ответы на свои вопросы. Так и сказал: «Пока не получу ответы на свои вопросы!» Тут же, разумеется, гнев мой остыл, и я опять покорно опустился на стул, покусывая костяшки пальцев. «Ваша супруга, — мягко сказал Хаслет, — садится сейчас в самолет. — Он взглянул на часы. — Именно сейчас, в данную минуту». Я тупо уставился на него. «А…» — только и выговорил я. Естественно, я успокоился, однако удивился не очень. Я ведь всегда знал, что сеньор (забыл, как его?) слишком хорошо воспитан, чтобы не дать ей уехать.

Его честь прибыл в полдень, хотя выглядел так, будто только что продрал глаза. Впрочем, вид у него всегда помятый — и в этом его прелесть. Больше всего меня поразило, насколько мы с ним одинаково сложены — оба большие, рыхлые, тяжелые. Стол жалобно застонал, когда мы, каждый со своей стороны, на него облокотились;

стулья под нашими мощными задами тяжело вздохнули, взывая о помощи. «Вам, наверно, будет небезынтересно, кто пригласил меня вас защищать?» — начал он. Я энергично закивал головой, хотя, по правде говоря, ни разу об этом не задумывался. Тут он заюлил, стал бубнить что-то про мою мать, уверяя, что уже работал на нее когда-то, но не уточнил, когда именно. Уже много позже, к своему удивлению и немалому смущению, я узнал, что все организовал Чарли Френч; это он в воскресенье вечером позвонил моей матери, известил ее о моем аресте и велел немедленно связаться со своим добрым приятелем, известным адвокатом Мак Гилла Гунна. Это Чарли платил ему — и платит по сей день — довольно солидные гонорары. Он переводил деньги матери (а теперь, стало быть, рыжей девице), а та посылала их адвокату, чтобы создалась видимость того, что деньги поступают из Кулгрейнджа. (Простите, Мак, что утаил это от вас, но такова была воля Чарли.) «Вы, кажется, давали какие-то показания, я правильно понял?» — продолжал его честь. Я поставил его в известность относительно литературного шедевра Каннингема. Вероятно, рассказ мой был чересчур эмоционален, его честь насупился, прикрыл,

словно от боли, глаза под очками и поднял руку, чтобы я замолчал. «Вы ничего не подпишете, — сказал он, — ничего, вы что. с ума сошли?!» Я опустил голову. «Но я же виновен, — тихо проговорил я. — Виновен». Он сделал вид, что не слышит. «А теперь послушайте меня, — сказал он. — Вы ничего не будете подписывать, ничего не будете говорить, ничего не будете делать. Вы подадите в суд заявление о своей невиновности… — Я раскрыл было рот, чтобы что-то возразить, но он не желал меня слушать. — Итак, вы заявите о своей невиновности, — повторил он, — а в момент, который я сочту подходящим, измените тактику и признаете себя виновным в убийстве, понятно?» Он холодно смотрел на меня поверх очков. (Моим закадычным другом он станет гораздо позже.) Я покачал головой. «А по-моему, это неправильно», — сказал я. Его честь презрительно фыркнул. «Это по-вашему!» — воскликнул он, но не добавил: «И вы еще можете рассуждать, что правильно, а что нет?» Мы помолчали. У меня заурчало в животе. Меня тошнило и одновременно хотелось есть. «Кстати, — прервал молчание я, — вы разговаривали с моей матерью? Она ко мне собирается?» И опять его честь прикинулся глухим. Он положил бумаги, снял очки и, стиснув

двумя пальцами переносицу, поинтересовался, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Теперь настала моя очередь фыркнуть. «Я вот что имею в виду, — недовольным голосом процедил он. — Есть ли что-нибудь, что я могу у них для вас попросить?» — «Есть. Бритва, — ответил я. — И пусть отдадут ремень: вешаться я не собираюсь». Он встал. Внезапно мне захотелось задержать его. «Спасибо вам, — сказал я с такой горячностью, что он остановился в дверях и по-совиному уставился на меня. — Поймите, — сказал я, — я хотел убить ее. Я сделал это умышленно. У меня нет ни объяснений, ни оправданий». Он только вздохнул.

В суд меня повезли во второй половине дня. Сопровождали меня Хаслет и двое полицейских в форме. Рука, которую я ободрал о розовый куст, нарывала. «О Фредерик, ты болен»[10]. О моем первом появлении в суде у меня почему-то осталось весьма туманное воспоминание. Я-то думал, что это будет просторное, величественное помещение, что-то вроде небольшой церкви, с дубовыми скамьями, резным потолком, атмосферой пышной и серьезной, а потому был разочарован, очутившись в довольно убогого вида конторе,

[10] notes: 10

Аллюзия на первую строку хрестоматийного стихотворения Уильяма Блейка «Больная роза» «О роза, больна ты…»

из тех, где прохвосты клерки выдают клиентам сомнительные бумаги. Когда меня завели внутрь, началась какая-то суматоха, которую я принял было за подготовку к слушанью, но которая, как я, к своему изумлению, впоследствии обнаружил, и была самим слушанием. Продолжалась эта процедура от силы минуты две. Судья, без мантии, в самом обыкновенном костюме, оказался вполне симпатичным стариканом с бачками и красным носом. Должно быть, он пользовался репутацией остроумного человека, ибо, когда он весело глянул на меня и произнес: „А вот и мистер Монтгомери!“, все присутствующие покатились со смеху. В ответ я вежливо улыбнулся, давая этим понять, что способен оценить шутку, даже если ее и не понял. Охранник толкнул меня в спину, я встал, сел, встал опять — и на этом все кончилось. Я с изумлением осмотрелся по сторонам. Мне казалось, я что-то упустил. Его честь потребовал, чтобы меня выпустили на поруки, однако судья Филдинг лишь укоризненно покачал головой, как будто укорял непослушного ребенка. „Э, нет, сэр, — сказал он, — об этом не может быть и речи“. И эта фраза тоже вызвала почему-то оживление. Что ж, я был рад, что им так весело. Охранник что-то сказал у меня за спиной, но я не

мог сосредоточиться: в груди у меня ни с того ни с сего образовалась какая-то жуткая пустота, и я понял, что сейчас разрыдаюсь. Я чувствовал себя ребенком — или же глубоким стариком. Его честь коснулся» моей руки. Я беспомощно отвернулся. «Пошли», — довольно дружелюбно проговорил охранник, и я поплелся за ним. Все плыло перед глазами. Хаслет следовал за мной — его походку я уже изучил. На улице собралась небольшая толпа. Как же они узнали, кто я, в каком буду суде, в котором часу кончится слушание моего дела?! Встретили меня дружным криком, в котором слышались ужас и отвращение и от которого у меня побежали по телу мурашки. Я так смутился и перепугался, что окончательно потерял голову и помахал им рукой — помахал им рукой] Один Бог знает, чем я при этом руководствовался. Вероятно, это был задабривающий жест, свидетельство животной покорности, признание своего поражения. Разумеется, это разъярило их еще больше. Они стали трясти кулаками, завывать. У одного-двух вид был такой, будто они вот-вот отделятся от толпы и бросятся на меня. Одна женщина плюнула в мою сторону и назвала меня грязным подонком. А я стоял, кивал и махал рукой, точно автомат, и на лице у меня застыла

испуганная улыбка. Именно тогда я и понял, что убил человека из их числа. Пока я был внутри, шел дождь, но он кончился, и опять выглянуло солнце. Помню злобный блеск мокрого асфальта, тучу, воровато спрятавшуюся за крыши домов, и собаку, что, испуганно поджав хвост, трусит через улицу, стараясь держаться подальше от рассвирепевшей толпы. Вот видите, вечно я запоминаю все случайное, несущественное. Тут на меня набросили шерстяное одеяло, втолкнули головой вперед в полицейскую машину, и мы, чиркнув шинами, сорвались с места. Эх… В жаркой, шерстяной темноте я нарыдался вволю.

Тюрьма. Та самая. Ее я уже описывал.

Своего первого посетителя я уж никак не ожидал увидеть. Когда мне сказали, что пришла женщина, я решил, что это Дафна, прямо с самолета, или же мать, а потому, войдя в комнату посещений, я в первый момент даже не узнал ее. В своем мешковатом свитере, юбке из пледа и туфлях на микропорке она выглядела в тот день еще моложе. Бледненькая, несформировавшаяся, вся в веснушках, она была похожа на отстающую ученицу, что тихонько плачет по ночам в интернатской спальне и помешана на пони. Только великолепные пламенно-рыжие волосы выдава-

ли в ней женщину. «Дженни!» — воскликнул я, и она покраснела. Я взял ее руки в свои. Почему-то я был ужасно рад ее видеть. Тогда я еще не знал, что совсем скоро эта девушка лишит меня наследства. «Вообще-то я Джоанна», — промямлила она и прикусила губу. Чтобы скрыть неловкость, я засмеялся. «Ну конечно, Джоанна. Ты уж прости меня. Я ведь сейчас плохо соображаю». Мы сели. Я улыбался — все шире и шире. Неожиданно я ощутил какую-то легкость, чуть ли не озорство. Я представил себя старым холостяком, другом семьи, что приехал навестить бедную малютку в «день открытых дверей». Она привезла мне из Кулгрейнджа мой чемодан. Вид у чемодана был какой-то странный, привычный и в то же время чужой, как будто за это время он побывал в небывало длинном, опасном путешествии — на другую планету, в другую галактику. Я спросил про мать. Слава Богу, хватило ума не выяснять, почему она не приехала. «Передай ей, что мне стыдно», — сказал я. Слова эти прозвучали нелепо, как будто я извинялся за опоздание, как будто кого-то подвел, и мы, не глядя друг’ другу в глаза, надолго смолкли. «Знаешь, — сказал я наконец, прерывая неловкое молчание, — а у меня здесь появилась кличка. Меня зовут, естественно, Мон-

ти». Она улыбнулась, и я обрадовался. Когда она вот так улыбается и кусает губку, то особенно похожа на ребенка. Никогда не поверю, что это ловкая интриганка. Подозреваю, что материнское завещание было для нее ничуть не меньшим сюрпризом, чем для меня. С трудом представляю ее себе хозяйкой Кулгрейнджа. Впрочем, может, именно этого мать и добивалась: после нее — хоть потоп. Нет, такие мысли недостойны меня, моего нового, серьезного отношения к жизни. Я не испытываю к матери ненависти за то, что она лишила меня наследства. Наверно, таким образом она пыталась меня чему-то научить, заставить спуститься с небес на землю, побольше уделять внимания людям, таким, например, как эта бедная, нескладная девушка с веснушками, робкой улыбкой и почти незаметными бровями. Помню, что вчера, сквозь слезы, сказала мне Дафна, слова ее засели у меня в мозгу, точно гвоздь: «Ты ничего не знал про нас, ничего!» Она права, конечно. Она-то говорила об Америке, о себе и об Анне Беренс, о тех еще временах, но права она в принципе: я ничего не знаю. Не знаю — но ведь стараюсь узнать. Я наблюдаю, слушаю, размышляю. Время от времени мне представляется даже возможность взглянуть на иной мир, который

при всей своей новизне на самом-то деле — я отдаю себе в этом отчет — существовал всегда, несмотря на то что сам я его и не замечал. В этих изысканиях большую помощь оказал мне мой друг Билли. Я еще не говорил вам о Билли? Он с самого начала ко мне привязался, думаю даже, что он немножко в меня влюблен. Ему девятнадцать — мышцы, сальные черные волосы, красивые руки убийцы. Такие же, как у меня. Суд по нашим делам назначен на один и тот же день, и он считает это хорошим знаком. Билли обвиняется в убийстве и в групповом изнасиловании. Он настаивает на своей невиновности, однако виноватую улыбочку сдержать не в силах. По-моему, втайне он гордится своими подвигами. И в то же время есть в нем какая-то чистота, как будто сохранилась крошечная драгоценная частичка, которую ничто не способно запятнать. Думая о Билли, я готов поверить в существование души. Первый раз он сел за решетку еще мальчишкой и является кладезем тюремной мудрости. Так, он поведал мне о всевозможных и весьма искусных способах передачи с воли наркотиков. Например, до того, как установили стеклянные перегородки, жены и подруги прятали во рту маленькие пластиковые пакетики с героином, которые

передавались во время длительных поцелуев, заглатывались, а потом выблевывались в нужниках. Идея эта мне очень понравилась, произвела на меня сильное впечатление. Такой целеустремленности и страсти, такой отзывчивости и отваги мне прежде встречать не приходилось.

Так о чем я? Мысли путаются. Такое, впрочем, происходит здесь со всеми. Это своего рода защитная реакция. Из-за расслабленности, рассеянности, апатии мы имеем возможность в любое время и в любом месте погрузиться в короткий, глубокий сон.

Да, Джоанна. Она пришла меня навестить, принесла чемодан. Я был рад что чемодан вернулся. Правда, большую часть его содержимого они (тюремные власти, то бишь) конфисковали, но кое-что все же осталось: пара рубашек, кусок мыла (от его аромата у меня подкосились ноги), туфли, несколько книг. Я вцепился в эти вещи, в эти иконы, я прижал их к сердцу, горюя по своему мертвому прошлому.

Но горевать здесь очень опасно. Горе подрывает волю. Тот, кто поддается горю, становится беспомощным, его охватывает губительная апатия. Горевать в тюрьме — все равно что вечно оплакивать покойника. Я предвидел эту опас-

ность и решил избежать ее. «Буду трудиться, буду заниматься», — подумал я. Тем более что тема напрашивалась сама собой. По моей просьбе Дафна принесла мне огромные фолианты по голландской живописи — не только история, но и техника, тайны мастерства. Чего я только не изучал: и методы растирания красок, и искусство изготовления красителей, и производство полотна во Фландрии. Я читал жизнеописания живописцев и их меценатов. Я сделался неплохим специалистом по истории Голландской республики семнадцатого века. Но штудии эти в конечном счете ни к чему не привели: все эти знания, вся накопленная информация окаменела, точно кораллы, облепившие дно затонувшего корабля. В самом деле, как могли голые факты сравниться с поразительным знанием, что снизошло на меня, когда я стоял и смотрел на портрет, который лежал на краю канавы. С этим знанием, с этим прозрением я жить не мог. Я смотрю на репродукцию, приколотую к стене у меня над головой, однако что-то в ней умерло. Что-то умерло.

Немало времени посвятил я и изучению подшивок газет. Я часами просиживал в тюремной библиотеке и читал — читал и перечитывал

— каждое слово, относящееся к моему делу. Я пережевывал мельчайшие подробности до тех пор, пока они не превращались в безвкусную жвачку. Я читал о детстве Джози Белл, о ее — увы, столь недолгой — учебе, о семье и друзьях. Соседи отзывались о ней хорошо. Она была спокойная, уравновешенная девушка. Однажды она даже чуть было не вышла замуж, но что-то не сложилось, жених ее уехал в Англию и не вернулся. Первое время она работала продавщицей у себя в деревне, потом, перед Уайтуотером, — горничной в отеле «Южная звезда». «Южная звезда»! Господи, ведь я же вполне мог пойти туда, когда жил у Чарли, мог снять там номер, мог даже лечь в постель, которую она когда-то стелила! Я рассмеялся про себя. И какую бы мораль я из этого извлек? Для меня Джози присутствовала бы там не более, чем в газетных отчетах, не более, чем в тот день, когда я увидел ее в первый раз стоящей в балконных дверях в озарении золотисто-синего летнего дня, не более, чем когда она повалилась на бок, а я ударил ее, один раз, другой, — и кровь брызнула на оконное стекло, В этом, вероятно, и состоит мой главный, самый страшный грех, тот грех, которому не может быть прощения: я ни разу не представил ее себе достаточно живо, она

никогда не была для меня полноценным, живым существом. Да, эта нехватка воображения и есть мое истинное преступление, из тех, что способно повлечь за собой и другие. Тому полицейскому я сказал чистую правду: я убил ее потому, что сумел убить, а сумел убить потому, что для меня она не была живой. И поэтому задача моя сейчас — оживить ее. Правда, я не уверен, что сам понимаю смысл этих слов, но они поражают меня своей неумолимой логикой. И как же прикажете совершить этот акт оживления? Представить ее себе с первых дней, с раннего детства? Я озадачен, я испытываю немалый страх и вместе с тем чувствую, что чем-то взволнован, как-то странно возбужден. Мне начинает казаться, будто я приобретаю новый вес и плотность. Мне весело и в то же время удивительно грустно. Во мне зреют новые возможности. Я живу для двоих.

Я принял решение и не отступлюсь: я признаю себя виновным в предумышленном убийстве. По-моему, это будет правильно. Дафна, когда я сказал ей об этом, расплакалась. Я был изумлен. Изумлен и поражен. «А обо мне ты подумал? — воскликнула она. — Ты подумал о ребенке?» На это я очень мягко возразил, что, по-моему, я уже и так поломал им жизнь, а потому самое

сейчас разумное — находиться от них подальше (а лучше и вовсе не возвращаться), чтобы дать ей возможность начать жизнь сызнова. Получилось, по-видимому, бестактно. Она сидела за стеклянной перегородкой и плакала навзрыд: плечи трясутся, в руке зажат скомканный, насквозь промокший носовой платок. И тут ее понесло, гнев пополам со стыдом, из-за рыданий я не мог разобрать и половины того, что она говорила. Она припомнила мне все. Что я сделал и чего не сделал. Как мало я знал, как мало понимал. Я сидел и смотрел на нее с разинутым от ужаса ртом. Я лишился дара речи. Откуда в ней это? Как же я мог так в ней ошибаться? Как это мне не удалось разглядеть за ее сдержанностью такую страсть, такую боль? Мне вспомнился паб, мимо которого я проходил однажды поздно вечером во время одной из городских прогулок, за неделю до ареста. Где это было? В Стоуни-Баттер, где-то там. Типичный паб в рабочем квартале: на окнах защитная стальная сетка, на ступеньках высохшие следы блевотины. Когда я поравнялся с входной дверью, из нее вывалился пьяный и на какую-то долю секунды, прежде чем дверь захлопнулась снова, я сумел увидеть, что происходит за ней. Заглянув внутрь, я прошел не останавливаясь. Увиденное

чем-то напомнило мне полотно Яна Стена (Ян Стен (ок. 1626 — 1679) — голландский художник; живописал застолье, сцены городской и сельской жизни.): тусклый свет, красные лица пьяниц, завсегдатаи сидят за стойкой, подперев головы руками; поет, демонстрируя поломанные зубы, какая-то толстуха. Меня тогда охватило какое-то тягучее оцепенение, что-то вроде разочарования и тоски: как же я далек от этого простого, уродливого, буйного мира. Что ж, я всю жизнь шел мимо открытых дверей, мимо шумных сборищ — и растворялся во мраке. И все же бывают и такие минуты, которые наводят на мысль, что я душа не совсем уж пропащая. На днях, например, по пути на очередное, дополнительное, слушанье я ехал в полицейском фургоне вместе с каким-то старым пропойцей, которого, по его словам, арестовали накануне ночью за убийство друга. Трудно было представить, что такой тип может иметь друга, тем более — убить его. Всю дорогу он говорил не переставая — в основном какую-то чушь. Один глаз у него был подбит, на губе образовалась громадная гнойная язва. Я смотрел в зарешеченное окно на убегавшие назад городские улицы и изо всех сил старался не обращать на него внимания. Но один раз, когда

фургон занесло на повороте, пьянчуга упал на меня, и я, машинально выставив вперед руки, заключил старого брехуна в объятия. Запах от него исходил, понятно, чудовищный, сальные обноски, в которые он был одет, скользили под руками, и я стиснул зубы, еле сдерживая отвращение, однако продолжал держать его, чтобы он не упал, и (конечно же, я приукрашиваю!) даже, кажется, на какую-то долю секунды прижал его к себе — в знак… не знаю чего… сочувствия, товарищества, солидарности, чего-то такого. Да, кто я, как не исследователь, как не первооткрыватель, что смотрит на неизведанный материк с носа тонущего корабля? И поймите меня правильно, я вовсе не воображаю, что подобные эпизоды, подобные вылазки в новый мир хоть на йоту уменьшают мою вину. Хорошо, если они имеют какое-то значение для будущего.

Быть может, последней страницей стоит пренебречь? Нет, какая разница, пусть остается.

Дафна принесла мне рисунок Вэна. Я приколол его к стене. Она уверяет, что это мой портрет. Одна, громадная, похожая на дубину, нога, пальцы, как сосиски, один, неподвижный, очень спокойный, как у Циклопа, глаз. Что ж, если вдуматься, сходство есть, и немалое. Кроме того, она сообщи-

ла мне совершенно сногсшибательную новость. Джоанна пригласила ее и ребенка переехать в Кулгрейндж. Будут, стало быть, жить в одном доме, сосуществовать — моя жена и девчонка с конюшни. (Каких только интригующих финалов не подкидывает нам жизнь!) И что самое поразительное, эта новость не вызывает у меня отрицательных эмоций. Весьма вероятно, что и мне предстоит жить там же — когда выпустят. Я живо представил себя в высоких сапогах, в шляпе, копающимся в навозе. Но промолчал. Бедная Дафна — если только… ну да, если только…

Его честь тоже пришел в ужас, когда я сообщил ему о своем решении. «Не волнуйтесь, — сказал я, — я признаю себя виновным, но поблажки мне не нужны». Он был не в силах это понять, а я — ему объяснить. Я так хочу — только и всего. Корабль Аполлона с увитым лавром бортом отплыл на Делос (Аполлон родился на острове Делос, священном для него. Лавр — растение Аполлона.), вот и я должен отсидеть свой срок. «Кстати, Мак, — сказал я, — по моей милости Чарли Френч остался без своей тарелки. — Шутки он не понял, но на всякий случай улыбнулся. — Между прочим, когда я бросил ее в машине, она была еще жива, — сказал я. — Мне не хватило мужества

ее прикончить. Собаку и ту добивают». (Все это чистая правда — поистине нет конца моим излияниям!) Он кивнул, стараясь скрыть отвращение. А может, страх? «Крепкий народ, — сказал он. — Такие умирают долго». Затем он собрал бумаги и направился к выходу. Мы обменялись рукопожатиями — ситуация того требовала.

Да, чуть не забыл. Оказывается, Чарли Френч скупил по дешевке картины моей матери, затем продал их втридорога Бинки Беренсу, затем выкупил их за гроши у Бинки и перепродал Максу Молиньюксу. Что-то в этом роде. Не все ли равно? Темные делишки, темные делишки. Довольно об этом.

Время идет. Я поедаю время. Я воображаю себя эдаким червем, что спокойно и методично поглощает будущее — то, что на воле принято считать будущим. Мне никак нельзя предаваться отчаянью, той абулии[11], которая постоянно угрожала всему, что я когда-либо пытался делать. Я так долго смотрю в пропасть, что иногда начинает казаться, будто, это пропасть всматривается в меня. У меня бывают хорошие дни, а бывают плохие. Я думаю о тех чудовищах, среди которых, совершив

[11] notes: 11
Абулия (греч). — патологическая слабость воли, безволие.

преступление, я очутился, об убийцах, мучителях, гнусных подонках, что стоят и смотрят, как все происходит, — и порой мне приходит в голову мысль: а не стоит ли просто взять и поставить точку. Но у меня есть обязательство — мой срок. Сегодня в мастерской я ощутил ее запах — резкий, металлический, его ни с чем не спутаешь. Это запах порошка для чистки металлов — в тот день она, должно быть, чистила серебро. Я был так счастлив, когда определил этот запах. Все казалось возможным. Казалось даже, что наступит день, когда я проснусь и в дверях, ведущих в темную комнату, ту самую, что не выходит у меня теперь из головы, появится ребенок, девочка, которую я узнаю сразу, без тени сомнения.

Сейчас весна. Даже здесь мы чувствуем ее, чувствуем оживление в воздухе. На окне у меня стоят цветы, я люблю смотреть, как они питаются светом. Суд состоится через месяц. Долго он не продлится. Газетчики будут разочарованы. Я решил было попробовать опубликовать мои записки. Но нет. Я попросил инспектора Хаслета приложить эту исповедь к моему делу вместе с другими официальными документами. Он сегодня побывал у меня, здесь, в камере. Хаслет собрал исписанные страницы и взвесил их на

ладони. «Это и есть моя оправдательная речь», — сказал я. Он скосил один глаз. «А тут есть про то, что вы ученый? — спросил он. — И про то, что давно знакомы с дочкой Беренса, и что деньги занимали, тоже есть?» Я улыбнулся. «Это моя версия, — сказал я, — и я ее буду придерживаться». Хаслет засмеялся. «Будет тебе, Фредди, — сказал он. — Сколько тут правды?» Он первый раз назвал меня по имени. «Сколько тут правды, инспектор? — переспросил я. — Тут все правда. И все неправда. Все — стыд. Один сплошной стыд».